

В. СТЕФАНИК



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1947

ЛННБ України ім.В.Стефаника



00519717 (U)

2012

В. 2768

В. СТЕФАНИК

РАССКАЗЫ

*Перевод с украинского
Н. Ляшко*



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА — 1947

C79

Збірка М. С. ВОЗНЯКА

ЛЬВІВСЬКА БІБЛІОТЕКА
АН УРСР

№ 34 391

10876

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

В книгу эту, горячую и необычную, вместились столько человеческих жизней и жизни эти изображены в ней так, что она возвышается над горами произведений о крестьянстве и так волнует, будто ее родил не один человек, а угнетенные бедняки всего мира.

Книгу эту нельзя читать без раздумья и глубокого волнения: это — рука друга, протянутая бедняку в минуты несчастья и горя: «Я, поэт, страдаю вместе с тобою»; это — мятежная прокламация, огонь которой спирает дыхание и зажигает в сердце жажду рушить все, что порождает неправду, гнет, темноту; это — ярчайший правдивейший документ эпохи и до предела сжатая поэма о жизни в темноте и бесправии безземельного и малоземельного крестьянства Западной Украины, некогда австрийской, затем польской, а ныне — свободной.

Поэт, создавший эту книгу, Василь Стефаник, является единственным в мировой литературе последних десятилетий певцом крестьянства — единственным по цельности восприятия действительности, по силе гнева, по глубине проникновения в сознание людей и изумительному поэтическому мастерству.

Он знал крестьян Западной Украины, как никто, и мог писать только о них. Он знал, как солнце обжигает голову бедняка на кулацком или господском поле, как в его босые ноги вонзается стерня, о чем он думает на работе, за скудной едой, перед «дубовым» сном, за пляской, в минуты гнева, страха, радости или отчаяния.

Это подлинное знание — оно равно сопереживанию — подсказало В. Стефанику такой подход к людям и явлениям.

что его произведения не укладываются в рамки общепринятых представлений о рассказах или новеллах.

В. Стефаник перешагнул через многие, обязательные не только для его времени, литературные приемы: ему не нужны были завязки, развязки, пояснения и прочее. Его произведения звучат, как разговор героя с самим собою, с окружающим миром.

Многие страницы этой книги так потрясают, что кажется, будто рукою В. Стефаника водила нежная и бесстрашная рука Тараса Шевченко или он, В. Стефаник, писал эти страницы с таким чувством, будто пишет в первый и в последний раз.

И еще одна особенность: В. Стефаник творческим взглядом заставлял людей в таких положениях и обстоятельствах, когда каждая их фраза, каждое движение выражают одну или несколько сторон их характера, дают представление об их жизни и их поведении в ней. Вот почему разговор этих людей даже с собою представляет и окно, через которое видна окружающая их действительность, и горячий сгусток их переживаний, и их вывод из пережитого.

Людам этой книги было о чем сказать: кулаки и помещики выжимали из них пот и кровь; буржуазное государство выколачивало из них налоги, угоняло их сыновей в казармы и тюрьмы, помыкало ими и преследовало их даже за то, что они украинцы. Их все «стригли» — помещик, кулак, поп, богач, чиновник, жандарм, — с детских лет и до могилы терпели они муки нужды и угнетения. Когда же они изнашивали свои силы в хозяйствах кулаков и бар, им говорили: «Куда хотите, туда и девайтесь, а хозяевам вы больше не нужны» («Поджигатель»).

Чем глубже проникал В. Стефаник в общественные отношения богачей и крестьян в буржуазном государстве, тем отчетливее видел он, что трудящиеся — могучий, мудрый колосс — втоптаны в грязь, лишены права и слова, значат меньше скотины, а то, что на словах выдается за их право, на деле превращено в издевательство над ними, — чем отчетливее видел это В. Стефаник, тем сильнее охватывали его горечь, боль и гнев. Он глядел на беспросветную жизнь крестьян, и ему нередко казалось, что бедняк счастлив толь-

ко в раннем детстве, когда ему еще не известно, что его ждет, когда леденящий мир угнетения отгорожен от него чудесным теплом родимого дома. Но мир насилия и нужды был рядом, — он подстерегал, он лапами врывался в домашнее тепло и выгребал оттуда детей в пекло страданий.

Иван из «Кленовых листьев» говорит о своих детях: «Я не жду, чтоб они вошли в силу, ума набрались и пожили со мной. Как только богач или барин пасть разинет, я туда бросаю ребенка, лишь бы избавиться... Там он бежит за скотиной, ноги его — сплошная рана, роса ест их, стерня колет, и он прыгает и плачет...» Вдовец Грыць Летучий («Новость»), доведенный нуждой и равнодушием окружающих до умопомрачения, топит младшую дочь в реке, а старший говорит: «Раз просишься (не топить. — *Н. Л.*), не буду, но тебе было бы лучше... Будешь сызмальства бедовать, а потом пойдешь в няньки к лавочникам и опять будешь бедовать».

Сурово и беспримерно воспел В. Стефаник страдания детей бедняков и любовь к ним их родителей. Но дети — надежда и радость — подрастут и пойдут батрачить, очутятся в ненавистной цесарской казарме или в тюрьме, будут всю жизнь задыхаться в нужде («Осень»). А к их родителям тем временем придет пора, когда тоска и горе «ткнут полотнище воспоминаний, чтоб скрыть от глаз яму жизни». И на этом полотнище все то же: родился, работал на других, выхаживал детей, надеялся — и вот остался один «под синим сводом». Хату нечем обогреть, обуться не во что, есть нечего, рубахи и одежда расползаются.

Бедняк глядит в «яму жизни» и говорит о прожитом, о настоящем, о том, что ждет его детей, — говорит так, что сам содрогается под непомерной тяжестью своих слов и как бы оправдывается за силу своей страшной правды:

«Может показаться, что я издеваюсь над своими детьми... А я... только вперед заглянул своими глазами на день, на год, на два года... поглядел... как они (дети. — *Н. Л.*) будут жить... Я будто сходил к ним в гости, и кровь моя застыла от их жизни, которую я увидел... Если бы на дороге в Канаду не было морей, я забрал бы детей в мешок

и пешком пошел бы с ними туда, чтоб далеко-далеко унести их от этого поруганья» («Кленовые листья»).

Слова эти мог бы сказать любой бедняк, любой из них хотел бы не знать страшного будущего своих детей или унести их на край света, или умереть, лишь бы не видеть их страданий. Но смерть приходит к бедняку не тогда, когда он зовет ее, — на него надвигаются мучительное одиночество и нищета. бессильная старость: чтоб согреться в не-топленной хате, старуха бьет головой о стену («Сочельник»), старик с внуками собирают на чужом поле бурьян для топлива («Вестники»), старуха от кашля синееет на печи и просит у бога смерти («Осень») и так далее. Одиночество. нищета — вот награда за труд всей жизни. «— Доля, оборви мою дорогу, я уже не могу идти. — И шагал с могилы на могилу... А когда оставил за собою сто могил, сто первая была его. Припал к ней, как припадал когда-то к груди матери» («Дорога»).

Поэт В. Стефаник по кругу возвратился к исходному, но еще более безотрадному положению: бедняк счастлив у груди матери и... в могиле. Это — отчаянье на бездорожье, это — мука от незнания того, как трудящиеся должны бороться за свое счастье, что особенно ярко сказалось в таких рассказах, как «Богомолка», «Чудной барин», «Заседание», «Суд», «Нитка» и др., — самая тяжкая мука, какую знали писатели...

Незнание путей борьбы трудящихся с угнетателями В. Стефаник искупил тем, что сделал: его творческая сила, его бесстрашие перед правдой жизни, отложившееся на страницах этой книги, являются примером горячей любви к народу, исключительной правды о народе и неуывающе-го, впоенного народом мастерства¹.

Н. Ляшко.

¹ В 1926 году Государственное издательство Украинской ССР издало книгу В. Стефаника «Твори». В эту книгу вошло все, что написал В. Стефаник. В настоящий сборник, кроме рассказов, вошедших в «Твори», включены в раздел «Посмертное» наиболее законченные произведения последнего периода творчества В. Стефаника.

Автобиография, написанная В. Стефаником в 1926 году для книги «Твори», и «Заметки к биографии В. Стефаника» помещены в конце книги. — *Н. Л.*



(1871—1936)

*«Я писал о том, о чем сердце пело...
Говорят, я пессимист. Но это неправ-
да!.. Я писал в горе, и кровь моя
смешивалась со слезами. Но если я на-
шел в ваших душах слова, которые мо-
гут греметь, как гром, и сверкать, как
звезды, то это оптимизм...»*

В. Стефаник

СИНЯЯ КНИЖЕЧКА

Этот Антон — во-он пьяный кричит на выгоне — всегда был каким-то неудачливым. Все уплывало из его рук, а в руки не шло ничто. Купит корову — та сдохнет, купит свинью — на нее хворь нападет. Вечно так получалось.

Когда у него умерла жена, а за нею два сына, он стал сам не свой. Пил и пил; пропил кусок поля, пропил огород, а теперь и хату продал. Продал хату, взял у старшины синюю батрацкую книжечку и хочет итти куда-то наниматься, искать себе службу.

Сидит пьяный и перебирает, чтоб все село слышало, кому он продал поле, кому огород, кому хату:

— Продал — и аминь! Не мое — и конец! Не мо-о-е! Если б дед поднялся из гроба!.. Батюшки, — четыре быка, как жирные монахи, двадцать четыре морга поля, хата на все село! Все имел, а теперь что имеешь?

И Антон показывает селу синюю книжечку.

— Ой, пил и еще пить буду! На свои кровные пью, никому до этого дела нет. А он говорит мне: «Эх, ты-ы, разве ты человек, — просвистал землю!» Печать к книжечке прикладывает да ругается, учит. Э-э, я не таких старшин видал, как ты...

Чтоб тебе умирать было так легко, как мне теперь жить!

Иду из хаты, совсем ухожу. Поцеловал порог и иду. Не мое — и конец! Бей, как пса, гони от чужой хаты! Можно: прошу! Было мое, а теперь чужое. Выхожу во двор, а лес шумит, лес словами говорит: «Вернись, Антон, в хату вернись, человече»...

Антон бьет кулаками в грудь так, что гул идет:

— Знаете, такое горе обняло меня, такое горе! Вхожу опять в хату. Посидел, посидел и выхожу... Не мое, что я могу сказать, раз не мое?..

Дай бог моим врагам так умирать, как мне свою хату покидать.

Выхожу во двор, так нет же, заморочило. На хате зеленый мох, крышу надо чинить. Камень — вода... Не я тебя, хата, буду покрывать. Камень... Кабы камень, и он треснул бы от горя!..

После этих слов Антон стал бить кулаками по земле, будто по камню.

— Сел я на завалинку. Еще покойница обмазывала, а я тачками глину возил. Только хочу встать, а завалинка не пускает. Я от нее, она не пускает. А меня горе печет, нет, не горе, — пропадаю я. Сижу и реву, так реву, будто с меня кожу ремнями сдирают. Люди сбегаются глядеть на позорище...

Вон там у ворот поп прощальное слово говорил над покойницей. Все люди плакали. Порядочная, говорит, жена была, работающая...

Переворачивайтесь в гробу, покойники мои: я — подлый человек. Пропил все до нитки. И полотно пропил. Слышишь, Марья, и ты, Василек, и ты, Юрчик: теперь отец будет ходить во вшивых рубахах и разным господам воду носить...

Антон показывает на хату старшины.

— Вот старшиниха — хорошая женщина. Вынесла мне хлеба, вынесла украдкой, чтоб старшина не видел. Пусть бог твоим детям помогает. Пусть бог всем вам даст лучшее, чем мне.

Какое я имею право сидеть на чужой завалинке? Иду. Только встал я с нее, а окна в плач. Заплакали, как маленькие дети. Лес им нашептывает, а они слезу за слезой роняют. Заплакала надо мною хата, как ребенок над матерью... Так заплакала...

Обтер я полою окна, чтоб не плакали напрасно, и пошел совсем.

Ой, легче камень грызть. Потемнел свет передо мною...

Антон обводит вокруг себя рукой.

— Есть еще вот деньги, и я буду пить. Со своими людьми напьюсь, с ними последнее пропью. Пусть знают, как я из села уходил!

Глядите, у меня за пазухой синяя книжечка. Это и моя хата, и мое поле, и мои огороды. Иду с нею один на край света! Книжечка от цесаря, и всюду передо мною двери открыты! Всюду! У панов, у подпанков, у крещеных и нехристей...

ПРОВОЖАЛИ ИЗ СЕЛА

На западе окаменела красная туча.

Заря раскинула над нею свои белесые пряди, и туча напоминала окровавленную голову какого-то святого. Из-за этой головы прорывались лучи солнца.

Во дворе стояла толпа. От заката, как от красного камня, на лица падал плотный ровный свет. Из хаты еще выходили люди. Их было много, и все они были печальными, будто прощались с покойником.

Последним вышел молоденький парень с остриженной головой. Все глядели на него, и казалось им, что его голова, облитая кровавым светом зари, обречена упасть с плеч... далеко, где-то на царскую дорогу. Где-то, в чужих краях, упадет она под солнцем и будет валяться.

Мать стояла на пороге:

— Ты уже идешь, сынок?

— Иду, мама...

— На кого ты нас покидаешь?

Женщины заплакали, сестры заломили руки, а мать колотилась головою о дверной косяк.

К сыну подошел отец:

— Садись, сынок, на воз, а то на поезд опоздаем.

— Еще эту ночь переночуй у меня, сынок! Я тебя так тяжело выхаживала, дула на тебя, как



на рану. Я тебя с восходом солнца провожу и плакать не буду. Переночуй, переночуй, дитятко!

Взяла сына за рукав и повела в хату.

Люди двинулись к воротам.

Мать вскоре вышла с сыном. Лицо у нее было белое, как мел.

— Сынок, — спросил отец, — а мне, старому, кто кукурузу полоть будет?

Люди заплакали. Отец упал головою на воз и дрожал, как лист.

— Эй, идем!

Мать не отпускала:

— Миколаюшко, не ходи! Пока ты вернешься, пороги в хате покривятся, углы погниют. Меня не застанешь уже, а может, и сам не вернешься...

Обняла сына за ноги:

— Лучше б мне в гроб снаряжать тебя!..

Пошли.

Стоявшие у ворот двинулись провожать рекрута.

Шли лесом.

Дорога была устлана осенними листьями. Листья сгибались в медные лодочки, готовые с осенней водою плыть вслед за рекрутом. Лес подхватывал голос матери, нес его в поле и бросал на межи, чтоб знало поле, что весной Миколай не будет пахать его.

За лесом, в поле, остановились. Рекрут стал прощаться:

— Будьте здоровы: и свои и чужие! Если чем обидел, забудьте и благословите в далекую дорогу.

Все сняли шапки:

— Возвращайся здоровым, да не задерживайся там.

Сын с отцом сели на воз. Мать схватилась руками за колесо:

— Сынок, возьми меня с собою, а то полем напрямки буду бежать и догоню тебя.

— Люди добрые, возьмите ее, а то она руки себе поломает.

Люди силком оттащили мать от колеса, и воз тронулся.

— Будь здоров, Микола! — кричала толпа.

...Ночью старая мать сидела во дворе и охрипшим голосом причитала:

— Откуда тебя ждать? Где тебя искать?..

Дочери, как кукушки, утешали ее. Над ними расстился осенний свод неба. Звезды мерцали, словно золотые цветы на гладком, как железо, току.

УТРАТА

Поезд мчался вдаль. В уголке на скамье сидел мужик и плакал. Чтоб никто не видел его слез, он склонял голову на вышитую суму. Слезы лились, как дождь, как неожиданный дождь, который то припустит, то стихнет на недолго.

Твердый стук колес, словно молотом, бил в мужицкую душу.

«Недавно еще снился мне. Беру я где-то воду из колодца, а он на дне в таком рваном тулупчике, что, господи... Вот-вот утонет. «Миколайка, сынок, — говорю ему, — ты что там делаешь?»

А он мне отвечает: «Ой, отец, не могу я в солдатах выжить...» Говорю я ему: «Терпи, да науки набирайся, да сердца своего не погань». Вот и научился...»

Большая слеза покатилась вдоль лица и упала на суму.

«Еду к нему, но знаю, что уже не застану его. Да и к кому мне возвращаться? Бежала за мною полем, кровавыми слезами просила, чтобы взял ее. Ноги ее посинели от снега, верезжала, будто помешанная. Но я погнал лошадей и уехал от нее. Может быть, среди поля замерзнет где-нибудь. Следовало взять старую. Что нам теперь надо? Пускай деньги пропадают, пускай скотина с голоду гибнет! Таким трупам, как мы, — зачем нам добро? Сумы пускай сошьет, и пойдем, собираясь, в тот город, где будет Миколаева могила».

Прислонился лицом к окну, и слезы потекли по стеклу:

«Ой, старая, вот дождались мы венков на седые головы. То-то, бедная, где-нибудь бьешься головой о стену, плачешь, к богу взываешь!»

Старик всхлипывал, как ребенок. Плач и тряска подкидывали седую голову, словно тыкву. Старику послышался голос его старухи, привиделось, как она, босая, бежит за ним и просит взять ее с собою. А он по лошадям кнутом, кнутом. Лишь стон летит по полю, но уже далеко...

«Наверное, не застаю ее. И меня бы с Миколом в могилу. Если не жить нам вместе, так пускай бы уж гнили рядом. Пускай над нами и пес не залаял бы, на чужой стороне все-таки мы вместе были бы. Как он один будет в чужой чужоте?»

А поезд все мчался.

«Вот и плохо, что вырос крепкий, как дуб. За что ни возьмется, бывало, все так и горит в руках. Надо было маленькому отрубить одну...»

Поезд подбежал к большому городу.

Старик вышел вместе со всеми и очутился на улице один. Стены, стены, а между ними дороги, а над дорогами на один шнур нанизаны тысячи огней. Огни утопали в полутьме, дрожали. Вот-вот упадут, и будет черный ад.

Но огни вращались во тьму светлыми корнями и не падали.

«Ой, Миколайка, хотя бы мертвого увидеть тебя. Мне тоже, сынок, будет аминь здесь!»

Сел у стены. Суму положил на колени. Слезы уже не падали на нее. Стены шли одна к другой, сгни сливались и играли цветами, как радуга. Окружили мужика, чтоб хорошенько разглядеть его, — ведь он пришел сюда из далекого края.

Начал накрапывать дождь. Старик еще неутешнее скорбился и стал молиться:

— Мать Христова, ты всем добрым людям за-

щитница. Микола святой... — и бил себя кулаком в грудь.

Подошел полицейский и указал дорогу к казарме.

— Служивый, это здесь умер Микола Чорный?

— Он повесился за городом в ольхах. Теперь лежит в мертвецкой. Идите этой улицей вниз, там вам кто-нибудь покажет.

Солдат пошел дальше. Мужик лежал на камнях и стонал. Когда боль отлегла от сердца, зашагал вниз. Ноги дрожали, словно простуженные, и спотыкались.

«Сынок, сынок, погубил ты себя. Скажи мне, сынок, что тебя в гроб загнало? Зачем ты душу загубил? Ой, привезу я маме весточку от тебя. Пропадем ни за что».

В мертвецкой, на большой белой плите, лежал Микола. Волосы его были залиты кровью. Макушка головы отстала, как скорлупа. На животе был крест, — крест-накрест разрезали и зашили.

Отец упал на колени, молился, целовал ноги сына, колотил головою о плиту:

— Ой, дитятко, мы с матерью к твоей свадьбе готовились, музыкантов нанимали, а ты ушел от нас...

Потом он поднял сына, обнял его за шею и, как бы советуясь, спрашивал:

— Скажи, сколько обеден заказать, сколько бедным раздать, чтоб бог тебе грех простил?..

Слезы падали на труп, на белую студеную плиту. Старик с плачем развязал мешок и стал одевать сына в последнюю дорогу: надел белую вышитую рубаху, шапку с павлиньими перьями и подпоясал вышитым поясом. Полотняную суму положил под голову. У изголовья поставил свечку, чтоб горела за погубленную душу.

Такой ладный да красивый парень в радужных перьях! Лежал на стылой мраморной плите и как будто улыбался отцу.

В КОРЧМЕ

За длинным столом сидели Иван и Проць: катали по столу пьяные слова и, склонившись, слушали, что говорит стол. Жаловались и пили.

Проця была жена, Иван учил его быть в доме старшим:

— Ого, пускай вола серп по бокам гладит, если его корова бьет! Если бы меня жена хотя бы мизинцем тронула, я убил бы ее. Эх, голова, это же срам на весь свет, если жена бьет мужа, как коня. Я ее скоро в память привел бы, да так в память привел бы, чтоб не помнила, как ходить. Наточил бы топор и пообрубал руки по локти. Раз, два — и нет рук.

Сказав это, Иван поднял руки, словно хотел взлететь. Откинул назад голову, выпучил на Проця глаза и ждал, что тот скажет.

Проць покачивал головою и ничего, бедняга, не говорил, — что скажешь, раз правда? Он бил кулаком по столу и кричал шинкарю:

— Эй, ты, не болтайся над книжкой, как повешенный на дубу, и давай, брат, водки. Я плачу, а ты давай, а не то мне тюрьма, а тебе смерть. Не сквалыжничай со мною, а лей браги.

Шинкарь, наливая водку, смеялся. Иван и Проць вновь стали пить. То наклонялись друг к другу, то отстранялись, как две ветки под ветром.

— Ты думаешь, — говорил Иван, — я ждал бы,

пока меня жандармы заберут. Хэ! Поотрубал бы руки, свитку на плечи — и в суд. Позор за позор, но я сказал бы судьям, что меня жена била, и я ей руки отрубил. Может, какой-нибудь день посидел бы, а может, и минуты не сидел бы.

После этих слов опять пили и так тяжело, будто пили не водку, а свою кровь, — морщились.

— Прощь, брат... видишь, пьем водку, ты меня угощаешь, вместе пропьем свой труд, свой кровавый пот. Кровь свою пьем. Но советую тебе, от души советую — подтяни жену, пускай она не поднимает на тебя рук. Господи, ведь ты посмешищем стал на селе: жена бьет, а ты хозяином должен быть. Я такую жену оседлал бы да в ступу запряг и проволочной нагайкой стегал.

Иван вынул деньги и хотел заплатить за водку, но Прощь рассердился и смел их со стола на пол:

— Иванок, за что ты меня без ножа режешь? Я хочу тебя угощать, ты мне, как говорится, будто родная мать, добро советуешь. Не тычь мне денег, а пей.

И вновь пили.

— Или поговори с нею по-хорошему! Придешь домой и говори ей так: «Эй! Жена, где ты мне клятву давала? На мусорной куче или в церкви? Раввин нас венчал или поп венец надевал? Ты на меня руки поднимаешь, а я тебе руки отрублю. Давай неси скамейку и топор, будем счеты сводить». Поговори с нею так, может, напугаешь...

— Иван! Ты, брат, не знаешь моей жены. У нее такое твердое сердце, что палача не испугается. Я иногда хочу дать ей острастку, но она схватит, что под руки подвернется, да как запустит в меня!.. Чтоб ее доктора так после смерти/резали. «Ты, говорит, пьяница, ты все, что увидишь, в корчму тащишь да еще надо мною хочешь издеваться?» Говорю тебе, Иван, я всегда такой битый, что придется мне из хаты уходить, если

только бог не усушит ей руки. Может, я этого вымолю у бога.

— Жди от бога, жди, дурак, а она будет бить, силу из тебя выколачивать! Э, ты такой хозяин своей жене, как из вербы запор к ярму. Плунуть жалко на такого хозяина.

Проць закашлялся и посинел. Иван поднес ко рту кулаки и грыз их. Потом на всю корчму скрипел зубами.

— Иди сюда, арендатор! Гей ты, ученая голова, недаром с нас шкуру дерешь; скажи мне, есть такой параграф, чтоб жена мужа била? Есть такой закон? Ты читаешь книжки, у тебя даже глаза гноятся, а дознался ты, где про это написано? Если цесарь такой параграф написал, я должен знать его. Потому, если цесарь такое право дал, то пускай и меня жена бьет. Руки сложу накрест, а она пускай тузит меня. Если право цесарское, то пусть будет по-цесарски.

Арендатор сказал, что о таком праве он еще не читал. А Процю сказал, что ему надо идти домой, а то жена будет ругаться.

Проць плюнул, широко раскрыл глаза и долго глядел на арендатора. Хотел ругать его, но одумался и встал.

Дорогою к хате на все село кричал:

— Она не боится, ничего не боится! Но я руки ей отрублю, как вербу подрежу! Куда это годится? Когда пришла, на хате жил аист, а теперь? Где, где этому конец?

Долго было слышно, как Проць подпевал: «Где, где, да где же этому конэ-э-ц?»

Подходя к хате, он понизил голос, а возле ворот затих совсем.

СЕМЬЯ ЛЕСЯ

Лесь, как обычно, украл у жены немного ячменя и нес его в корчму. Не шел, а бежал и все оглядывался.

— Ого, уже гонится с пострелятами, чтоб вы головы себе расшибли! Успеть бы в корчму вбежать, а то догонит, опять будет крик на все село...

Он заторопился с мешком на плече. Но жена с сыновьями догнала его у самой корчмы и вцепилась в мешок:

— Ой, не удирай, ой, не беги, не уноси того, что я собрала с детского поля!

— Ты, поганка, что?! Опять хочешь кричать, чтоб все слышали?! Постыдилась бы!

— Стыда за такого хозяина, как ты, у меня не было и не будет! Давай мешок и убирайся! А не дашь, будем бить, дети будут бить тебя посреди села! Пускай позор будет на весь свет! Отдай!

— Ты, старая тварь, что, или сдурела? Да я тебя и пузанов твоих перевешаю!

— Андрейка, сынок, — только по ногам, только по ногам, пускай ваш хлеб по кабакам не разносит! Бейте его так, чтоб ноги сломались. На калеку мы заработаем, а на пьяницу нам не работать...

Так говорила она сыновьям. Те стояли с палками и робко глядели на отца. Андрейке было около десяти лет, а Иванку около восьми. Они не смели приблизиться к отцу и бить его.

— Бей, Андрейка, я буду держать его за руки. Только по ногам, только по ногам!

И ударила Леся по лицу. Он ответил ей так, что изо рта у нее потекла кровь. Тогда к нему подбежали сыновья и начали бить его по ногам.

— Крепче, сынок! Перебейте ему ноги, как собаке, чтоб он волочил их за собой!

И плевала кровью, и синела от натуги, но продолжала держать Леся за руки. Сыновья, осмелев, как щенята, подбегали к нему, били его по ногам, отбегали и вновь били. Казалось, они забавлялись, казалось, они играли... Из корчмы выбежало несколько человек:

— Эй, да такого еще никто не видел с тех пор, как мир стоит! Глядите, как бьют! Еще молоко на губах не обсохло! Срам на весь мир!

Мальчики били Леся, как помешанные, а Лесь и Лесиха, окаменелые, окровавленные, не трогались с места.

— Эй, пареньки, да вы надорветесь!

— Надо было взять палки подлиннее, чтоб удобнее было доставать...

— Бейте отца по голове, в самый разум, в темя!

Так выкрикивал один из пьяных.

Лесь бросил мешок и ошалело глядел перед собою: такой расправы он не ждал и не знал, что делать. В конце концов он сбросил с себя свитку и лег на землю.

— Андрейка, и ты, Иванко, идите и бейте меня, я не шевельнусь. Вы еще маленькие, вам тяжело подбегать. Гей, бейте...

Сыновья стояли в стороне и с удивлением глядели на отца. Затем бросили палки и стали глядеть на мать.

— Почему же ты не заставляешь их бить меня? Я ведь лег... Бейте...

Лесиха заплакала и раскричалась на все село:

— Или я, люди, виновата!? Я задыхаюсь с деть-

ми в поле на сухом хлебе, но все, что я заработаю, он тащит в корчму. Я, люди, из-за него ничего не могу заработать, потому что не могу хаты оставить. Он зарится даже на последние тряпки в хате. Что подвернется, все тащит в кабак на водку. Я не могу зарабатывать и на детей и на кабатчиков. Пускай будет все, что угодно, но я терпеть больше не в силах...

— Да бейте же, пальцем не шевельну!

— Пускай тебя бог побьет, ты век наш по ветру пустил и детей осиротил. Ты нас так бил, что мы никогда, как волю из ярма, из синяков не выходим. Я уже горшков не могу в хате держать, — ты все бьешь. Сколько раз я с детьми ночевала на морозе? Сколько ты одних окон выбил? Я ничего тебе не говорю. Пускай тебя бог накажет за меня и за детей. Ой, какую я жизнь вымолила себе у бога! Люди, не удивляйтесь, вы не знаете всего...

Вскинула мешок на плечо и, как подбитая птица, заковыляла с детьми к хате. Лесь лежал на земле и не шевелился:

— Вот пойду на грех, на вечный грех пойду! Раз! О таком никто не слышал и не услышит. Такое устрою, что земля содрогнется!

Лежал и злобно посвистывал...

Лесиха перенесла все из хаты к соседям. На ночь легла с детьми на огороде в бурьяне: боялась, что ночью придет пьяный Лесь. Детям постлала мешок и укрыла их тулупом. Сама дрожала возле них в свитке:

— Детки, детки, что будем делать? Может, сегодня я постлала вам в последний раз? И помрете, а позора не снимете с себя. И я не в силах вымолить вам прощения...

Плакала и прислушивалась, не идет ли Лесь.

Небо дрожало вместе со звездами. Одна из них скользнула в темноту. Лесиха перекрестилась.

МАМИН СЫНОК

В субботу утром Михайлиха выбежала из хаты и звонко заговорила сама с собою:

— Ба, и не знаю, куда постреленок запропастился? Где-то бегаёт, снуёт по двору, как курица. Разве удержишь в хате? Причесала бы баловника — да вот нет его.

Она прошла на гумно — нет ли мальчишки возле Михайла?

— О, где у тебя разум?! Не отошлешь парня в хату, на холоду держишь. Иди, Андрейка, в хату, я тебе дам такое красное яблоко, что...

— Не ходи, глупый, мать хочет чесать тебе голову, вот и обманывает, — сказал Михайло и засмеялся.

— Этот человек, ей-богу, совсем из ума выжил! Ведь ребенок замерзает возле тебя. Не слушай, Андрейка, отца, он глупый, иди в хату, я тебе голову расчесу, дам и булку, и яблоко. Ай-яй!

— А если не дашь?

— Иди, иди, ей-богу, дам.

Взяла его за руку и повела к хате.

— Я тебя хорошо вымою, расчесу, и ты завтра пойдешь со мною в церковь. Мама тебе хорошую рубашку даст и поясok даст, все будут глядеть на тебя и говорить: глядите, какой Андрейка красивый!

— А яблоко дашь, мама?

- Да, дам, много.
- А булку?
- И булку.
- И в церковь возьмешь?
- Возьму, возьму...
- Ну, чеши...

И мать начала мыть Андрейке голову. Струйки воды стекали ему за воротник, на глаза, и он с трудом сдерживал слезы.

— Тихо, не плачь, мама тебя хорошенько вымоет. Лицо будет как бумага, а волосы — как лен. Красивее всех ребят будешь.

— А если оно щиплет...

— Мама все вытрет, вычесет, и не будет щипать. Голове так легко будет, что ай-яй!

— А когда вычесешь и дашь булку и яблоко, пустишь во двор?

— А как же? Одну тебя, и пойдешь далеко, далеко.

— Хорошо, я пойду к теткинному Ивану.

Мать посадила вымытого Андрейку на колени и стала чесать.

— Мама, а там возле отца сидит кот. Он мышей ловит и душит.

— Ага, мыши зерно едят и вред делают.

— На что вред?

— Чтоб нечего было молотить и молоть.

— А что они едят?

— Да зерно.

— Как?

— Э, с тобой не сговоришься! Надо отцу подстричь тебя, а то, гляди, космы какие.

— Чтоб было, как у парней, ма?

— А как же, ты ведь у меня парень уже. Сам видишь, что парень, а никогда не даешься голову причесать. Вот погляди в зеркало, как хорошо.

Андрейка выглядел именинником. Волосы белыми локонами спадали на лоб и шею. Глаза были

синие, губы розовые. Мать дала ему яблоко и булку. Он спрятал их за пазуху и сказал:

— Я хочу к тетке.

— Прежде съешь яблоко, потом пойдешь, а то ребята отнимут.

— Я не покажу им. Хочу к тетке.

— Ну иди, мне что!

Надела на него сапожки, свой тулуп, отцову шапку и выпустила за дверь:

— И гляди мне, не упади, а то бить буду.

И села за шитво:

— Вот ведь какой умный, как старик. Вылитый Михайло. И сразу требует себе плату за чесанье головы...

Мать усмехнулась и продолжала шить:

— Здравым да крепким рос бы. Только три года, а он уж пробует «Отче наш» читать, дотошный. А шалун такой, все в хате перевернет. Так порою допечет, что бить станешь. Если не бить, ничего из него не выйдет.

Подняла голову и глянула в окно:

— Уже полдень, а Михайло полдничать не идет, и мальчишки нет. Где-нибудь, наверное, играет в снегу и будет кашлять.

Вечером Михайло сидел на лавке и качал на коленях Андрейку. Огонь потрескивал в печи и освещал хату красным светом. Михайлиха варила ужин.

— Ты, старичина, в детство впал. Дай ребенку покой, не подбрасывай его, как тыкву. Иди, Андрейка, к маме.

— А если я не хочу?

— А ты чей: отцов или материн? — спросил Михайло.

— Отцов.

— А кого будешь бить?

— Маму.

— Ах, ты, двоедушный: я тебе яблоки и булки даю, а ты меня собираешься бить!

— Раз ты отцов, отец тебе яблок купит много-много...

— Ой, уж отец купит... С ним ты ничего никогда и не видал бы...

— А ну покажи, как ты с солдатами будешь ехать на коне.

Мальчик сел на кочергу и, брыкаясь, забегал по хате.

— Будет, будет, Андрейка! На тебе соломинку, собирай с молока пенку.

Андрейка очутился у печки и собирал пенки.

— Андрей, а ты что купишь маме?

— Красные сапоги.

— А отцу?

— Ничего не куплю.

— Хороший сынок, мамин.

Михайло вновь посадил сына на колени:

— Ты кто такой?

— Андрей Косминка.

— А кто ты есть?

— Луский ладикал¹.

— Хорошо. А куда ты поедешь?

— В Канаду.

— А на чем поедешь?

— На таком пароходе, как хата, на большом, и морем таким широким, широким...

— А отца возьмешь с собою?

— Возьму отца и маму возьму, и теткинго Ивана... и поедем далеко-далеко.

— Ну, ну, не муштруй парня, не экзаменуй, а то еще заснет без ужина.

— Но, подумай, какой пострел умный, все знает...

¹ Русский (украинский) радикал, член мелкобуржуазной радикальной партии в Галиции.

БОГОМОЛКА

Семен и Семениха вернулись из церкви и обедали — макали в сметану холодную кулешу¹. Муж ел так, что глаза пучились, а жена ела степенно. Она то и дело утиралась рукавом, — муж за едой всегда чавкал и, как песком, брызгал в глаза слюною.

— Не можешь прорву свою прикрыть, хлеба нельзя съесть.

Семен ел и не прикрывал «прорвы». Жена немного задела его, но он продолжал черпать из миски сметану...

— Чавкает, как четверка свиней. Боже, боже, у тебя такая губа неаккуратная, как у старой лошади.

Семен не отзывался. Чувствовал себя немного виноватым, а в общем хотел хорошо поесть. Наевшись, встал и перекрестился. Вышел во двор, напоял свиней и вернулся отдохнуть.

— Гляди, нажрался и ложится, как колода. Ну, куда он нос свой покажет? Гниет каждый праздник.

— Чего ты придираешься? Гляди, а то так придержишь, что не отдерешь. Я тебя выучу придираться.

¹ Кулеша — бабка из кукурузной муки.

— Да я готова тебя каждое воскресенье живого грызть.

— Кабы свинья да рога имела...

— Стоит в церкви, как баран недорезанный. Другие хозяева, как хозяева, а он такой неряшливый, как холера. У меня лицо трескается от стыда за такого хозяина.

— Вот бедная голова, не попаду в царство небесное! Натрудись за неделю да еще в церкви в струнку стой. Стой уж ты за меня, я и так божье слово выслушаю.

— Ох, слушаешь ты божье слово! Ни одного словечка не понял из того, о чем поп говорил в проповеди. Стоишь посреди церкви, как лунатик. Глянешь — а глаза у него уже осоловели, глянешь — а рот у него уже распахнулся, как ворота, глянешь — а слюна уже течет изо рта. Гляжу, и пол горит подо мною от стыда.

— Отцепись ты, набожная, дай мне глаза сомкнуть. Тебе легко языком лопотать, а я еле живой...

— А ты не стой в церкви, как столб. Только начнет поп из книжки читать, а ты глаза вытаращишь, как луковицы, и мотаешь головой, будто лошадь на солнце, и пускаешь нитками слюну, как паук. Только не храпишь в церкви. Моя мать говорила, это нечисть вселяется в человека и в сон клонит его, чтоб он божье слово не слушал. А возле тебя нет бога, ой, ей-богу, нет!..

— Тьфу! Пускай в твою голову чорт вцепится, а не в мою! Вот набожная! Записалась в какое-то архиерейское братство и думаешь, уж святая? Да я тебе так спину распишу синими рядами, как в книжке. Сошлись хозяйки в братство! Такого дива и не видал никто! Одна ребенка девкой родила, другая — вдовой, третья — без мужа нашла, — самые порядочные хозяйки сошлись! Кабы монахи знали, что вы за молодки, они палкой бы

вас из церкви! Смотрите, какие мы набожные, только хвост сзади не болтается! Книжки читают, иконы покупают, готовы живьем в рай лезть.

Семениха заплакала и затряслась:

— Не надо было сватать меня, раз я имела ребенка. Какую судьбу я выпросила себе! За тебя, за вола неумытого, даже собака не пошла бы. Моли бога, что я связала с тобою жизнь, а то ходил бы один до гробовой доски.

— Глупым был, на твое поле позарился и взял в хату ведьму. Теперь свое отдал бы, лишь бы отцепиться от тебя.

— Ой, не отцепишься! Я знаю, ты хотел бы еще одну взять с полем, но успокойся, меня не съешь и не убьешь. Я буду жить, а ты должен глядеть на меня, — вот и все.

— Да живи, пока солнце светит.

— И в братство буду ходить, и ничего ты мне не сделаешь!

— О, нет, в братстве ты будешь тогда, когда меня не будет. Твои книжки я выброшу, а тебя привяжу. Больше ты не будешь приносить мне от монахов ума-разума.

— Ой, буду, буду — и все!

— Да отцепись ты от меня, а то всыплю.

— Мама, мама, отдала ты меня за бессердечного недоверка, связала мою жизнь! Гляди, в воскресенье бить хочет!

— О, смотрите, разве я затевал ссору? Вы только подумайте, что это за набожная баба? Эй, берегись! Раз ты так, то я тебя укорочу, я тебе немного задору убавлю. Не-ет, из-за этой набожной надо из хаты уходить! Хоть умри теперь, а бить буду!

КАТРУСЯ

Когда Катруся приходила в себя, мать подсаживалась к ней и жалобно говорила:

— Катруся, до каких пор ты, бедная, болеть будешь? Денег у нас уже нет, новых скоро не заработаешь, вставала бы ты. Я все деньги отнесла ворожеям, но толку нет. Правда, ворожея угадала, что делается у нас дома, какая у тебя болезнь, но ее коренья не помогают. Должно быть, нет тебе выхода...

Катруся лежала неподвижно. Водила сухонькой рукой по лицу. Ногти у нее были такие же синие, как ее глаза, и казалось, что по ее лицу бродит много синих чудесных и огнистых глаз. Всеми этими глазами Катруся глядела на мать и соглашалась с ее жалобной речью.

— Ой, нет, бедная доля, нет спасения! Отец совсем затосковал. В голове у него забота: на что будем хоронить тебя? Как посмотрит на тебя, чернеет от тоски. Мы, Катруся, уже все прожили. Муки только на дне осталось, ни одного зерна нет возле хаты... и ни ломаного гроша. Если ты умрешь, мы совсем на мели останемся. Хотя бы до осени бог поберег тебя. Ой, девонька, девонька, и себя и нас ты связала...

Мать принялась расчесывать Катрусе волосы:

— У тебя страшный жар, ты так кашляешь, что пускай бог хранит. Ни сорочки надеть на тебя, ни

расчесать, ни умыть. Боже, боже, как мы горько мучаемся! Прошу бога, чтоб он половину твоей муки на меня переложил, и не могу допроситься.

Слезы матери катились на Катрусины волосы и скрывались в них, как вода в песке.

— Что с тобой случилось? Такая ты была хорошая, а работница — на все село. Мы радовались, думали, нам легче с тобою будет, а теперь гляди, как легко. Хотя бы еда была хорошая, а то вянем на картошке, а ты и совсем пропадаешь. Тяжело ходить по хатам за молоком, столько уж ходила, что неловко людям показываться...

Мать заплетала косу:

— Не знаю, зачем я цветов тебе накупила? Отвалила на них два гульдена, как в болото. Должно быть, этими цветами я тебя на смерть уберу.

Обе заплакали.

— Дайте, я погляжу на них.

Мать подала Катрусе синие, белые, зеленые и красные цветы.

Катруся разглядывала их, губы ее робко улыбались, и от цветов по лицу бродили синие, белые, зеленые и красные отсветы.

— Отец идет, давай скорее цветы, а то, гляди, скажет, что у тебя в голове еще девичий ветер бродит...

Катрусю положили на воз, чтобы везти к доктору. Мать, плача, подкладывала ей под голову подушку.

— Чтоб я не дождался лечить вас! Чтоб вы передохли, я сразу похоронил бы вас и вздохнул...

Держал вожжи и в ярости рвал на себе волосы:

— А ты, развалина, помни: если я деньги даром докторам развею, я тебе аминь сделаю! Я тебя без доктора схороню, я сам тебе буду док-

тором! Откуда я возьму и на вас, и на докторов, и на аптеки, и на чорта рогатого? Мои руки не в силах выдержать этого, ой, не в силах. Нанял воз, но лучше бы везти на могилу, — свалить там — и конец. Боже мой, что это нашло на меня сегодня? Ну, дохлая, двигай худыми боками!

Стегнул лошадь кнутом и выехал за ворота.

Катруся с любопытством оглядывала улицу. С осени многое переменялось. Дядя Семен поставил новый плетень, старый Никола заново покрыл гумно. Катруся забыла ругань отца и глядела по сторонам.

В поле люди пахали, сеяли. Над ними пели жаворонки. Черные борозды отваливались от лемехов и рассыпались под солнцем.

Катруся раскраснелась и думала: «Нет, я скоро встану, и весна у меня не пропадет зря. Сразу найду себе работу... Боже, дай мне лекарства...»

Она была уверена, что скоро будет работать. Отец сидел на передке воза и долго молчал. Наконец заговорил:

— Денек выдался, как золото, а ты ездил по докторам...

Обернулся к Катрусе:

— Скажи ты, дочка, что мне делать с тобою? Лежишь ты, лежишь, и нет тебе ни жизни, ни смерти. Я денег занимаю, занимаю, но все впустую. Если б я знал, где лекарство от твоей болезни, я искал бы, а так, ну, что я знаю? Скорей бы уж сюда или туда. И тебе лучше, и нам лучше...

Катруся заплакала.

— Да, бедная моя, не надо плакать, ведь это же правда! Ты умрешь — и нет тебе заботы, а мне... Теперь такая легкая жизнь, что лучше умереть и не горевать больше на чужом поле. Я много уже должен, займу и на похороны, а на старости лет меня из хаты за долги выгонят. Эх, если б я знал, что ты не вылечишься, сейчас же повер-

нул бы к дому. Эти деньги остались бы на похороны...

Катруся задыхалась от плача и кашляла на все поле.

Отец вынул из-за пазухи яблоко и несмело подал его дочке. Он никогда еще не давал ей никаких лакомств:

— Не плачь, бедная, я тебе не враг. Я к тому говорю, чтоб зря деньги не тратить и себе вреда не делать, раз это не поможет. Ты сама, дитяtko, видишь... Я для тебя палец отрублю и не пожалею. Меня люди из-за тебя уважают так, будто ты парнем была, потому ты работница на все село. Я дул на тебя, как на пеночку, а вижу, что умрешь ты. Глазам видно, нет тебе выхода. Ой, бедная, как мы будем горевать без тебя! Ой, будем, будем...

Старик умолк.

— Ой, умру, умру, вижу, нет мне спасения, — шептала Катруся.

Въезжали в город.

Обратно с ними ехал сосед Никола.

— Он мне столько напел, что ой-о-о! Нет, мужику к докторам не гоже ходить. Если б, говорит, она много молока пила да мясо какое-то легкое ела, чтоб желудок подправить, да хлеба белого... все, что только на свете есть, все припомнил. Может, в господской жизни оно и помогло бы, а в нашей не поможет. Как начал он читать, как начал, я и не дослушал до конца. Ну, что с того, если б я дослушал? Пускай умирает так, как есть. Пускай выпьет лекарство, какое я в аптеке купил, и пускай либо выздоравливает, либо как хочет...

— А вы думаете, — заговорил сосед, — что доктора дают мужикам такое лекарство, как и господам? Чтоб они так здоровы были! Мужику даст

чего-нибудь — ну, и спасайся. Разве ему хочется для мужика хорошего лекарства поискать? С барином он каждый день здороваётся, а с мужиком что?

— Хотя бы надоумил кто, а то ведь наше дело какое? Поцеловал руку и жди, когда скажет: «Давай деньги».

— Лучше всего было бы выведать все у старой Иванихи. Она пошла раз к доктору, начал тот осматривать ее, а она напрямки: «Ой, — говорит, — господин доктор, дайте мне последнее лекарство. Я, — говорит, — женщина бедная, не имею на что лечиться, дайте мне последнее лекарство». Доктор, — вижу, — уставился на нее и говорит: «А ты откуда знаешь?» — «Ой, — говорит баба, — откуда знаю, то знаю, но дайте мне рецепт на последнее лекарство». Как начала, как начала, — доктор и дал. И по сей день баба на ногах.

— А если ума нехватило допытаться у него? Вы думаете, с барином можно говорить так, как хочется? Сказал слово, другое, да и собирайся — марш!

— Пошла баба с тем рецептом в аптеку, подала аптекарю, а сама, хитрая, глядит, как он будет ей лекарство готовить. Как капнул он, говорила она, того лекарства на ладонь, оно насквозь прошло. Но ведь достать такого лекарства из сотни одному удастся. А мужикам нужно крепкое лекарство, чтоб или туда, или сюда.

— Эх, глупый я, не расспросил бабку, как настоящего лекарства просить! Деньги истратил, а не поможет. Плохо сделал.

— А, может, вашей девке уже нет выхода. Гляньте, как она горит. Ничего уж не будет из нее, как из листа, что оторвался от дерева...

— Ой, не будет, не будет, и деньги зря пошли. Кабы я Иваниху расспросил...

— Да, видите, то лекарство, может, от другой болезни. Аптекарь вон свою аптеку имеет, но тоже умирает...

АНГЕЛ

Старая Тимчиха грелась под солнцем на зава-
линке. Мимо ворот проходили люди, но не заго-
варивали со старухой: «Славайсу» — «Навеки
слава», — вот и весь разговор.

— Старого возьми да закопай! Жалко ложки
борща, которую съест, жалко угла на печи, где
лежит. Всем ты мешаешь. Никто слова не скажет,
словно ты чорт какой или дьявол. Нет, не стоит
старому жить на свете, — вот и конец.

Старухе вспомнились слова старого Тимка:

— Вот, старая, какое дело: моя голова впе-
ди, а твоя за моей. Моей не станет — и твоя ни-
чего не будет стоять. Только похоронишь меня, на
другой же день ты уже не хозяйка, ты в своей
хате, как квартирантка, будешь сидеть...

— Эй, старик, оставил ты меня, будто из-под
венца убежал. Слабый ты был — куда я гнула
тебя, туда и гнулся, но все же я за тобой хозяй-
кой была. Была и была...

Солнце по-матерински согревало старые кости,
но Тимчихе было грустно.

— Ты думаешь, старик, тебя кто-нибудь вспо-
мнит? Как же, кабы меня не было, ни один пес не
залаял бы над тобою. Ох, теперь такие дети...
такие дети, что даже пяткам холодно становится.
Но ты глупый, ей-богу, глупый! Надо было набрать

в банке под заклад да хорошо есть, да пить, да по-господски жить, а мы с тобою надрывались, яиц на яичницу жалели, а теперь тебя никто и обедом не помянет...

Тимчиха закрыла ладонями лицо и шептала покойному Тимку:

— Если б я выскребла последний феник¹, тогда и обед был бы. А если ты не можешь встать, то сдыхай на картошке! Или дети купят тебе яблочко, булку? Тогда б ела!

Встала и поплелась поглядеть на кур.

— У старого, ей-богу, разум, как у ребенка. Такого я наплела, что стыдно перед святым солнцем. Они, бедные, имеют своих детей и должны для них стараться. А ты, старая, молчи да дыши. Недаром сказано, что у старого детский ум.

С этими словами Тимчиха вошла в хату. Отомкнула свой сундук и стала перебирать одежду. Разглядывала, не поплесневела ли, не завелась ли моль.

— Все это еще нами нажитое, дети ни одной нитки не купили. Все приготовила себе на смерть. Когда старик умер, только досок на гроб купили. Эх, кабы и меня так хорошо хоронили! Были люди, было и людям все, что надо. Я тебя, старый, похоронила хорошо, как хозяина. Никто не пискнул, что я чего-нибудь пожалела...

Вынула красные сапоги:

— Вот, только раз надеваны! Покойный перед самой смертью был на ярмарке и купил. «На, — говорит, — Настя, чтоб тебе было на смерть, кто знает, как дети будут заботиться о тебе? Лучше иметь свое, пусть будут порядочные сапоги на ногах, потому, бог знает, я раньше умру или ты».

Старуха заплакала:

— Не горюйте, детки, я вам убытка не причиню,

¹ Феник — копейка.

еще вам оставлю. Не дайте только старухе без свечи умереть. Я возле старика ночами так страдала, что один бог знает, но все-таки он не умер без свечи.

На дне сундука старуха нашла узелок с деньгами. Села с ним на пол и начала считать.

— Ой, дети, дети, как я вас забавляла да выхаживала! Бегу, бывало, из города, а в мыслях только одно: «Что они там, — думаю, — делают одни в хате?» Подбегаю к лесу, а они идут встречать, еле по земле катятся. Подо мною ноги дрожат — скорей к хате, — а они обступят, и должна ты садиться и раздавать подарки. Получат и — дальше! Только покойная Доця шла со мною, а мальчишки, как ветер, летели.

Лицо старухи подобрело и прояснилось. Глянула на иконы. Там висел голый ангел и держал в руках две красных розы.

— Ох, ты, голыш, все еще смеешься над старухой? Как не смеяться тебе? Старуха состарилась, а ты все молоденький, все старухину хату веселишь. Ой, ты, дитя божье, пролетел век, будто кнутом щелкнуло.

Старуха уперлась руками в пол и вспомнила:

— Еще Юрчика, должно быть, на свете не было, когда я купила его. Какой-то панок выставил столько икон, что на воз не вместишь. А среди них был ангелок, я и купила его. Он так ласково глядел, так протягивал каждому розы, — только бери. И как быстро время пролетело! Бывало, зимними вечерами наделаю из бумаги голубков. Головки позолочу, крылья посеребрю, да как беру ими ангелочка, так он будто играет с ними.

Вспоминая, Тимчиха забыла о деньгах. Держала их в ладони, а мыслями уносилась далеко-далеко:

— Ой, перемрем, голубчик! Меня уже в живых не будет, а ты все будешь веселить хату. И хоть это да будет напоминать, что я жила...

ОСЕНЬ

Дмитро латал женины сапоги. Не латал, а стягивал дыры, — грех было отдавать такую рванину сапожнику, да и деньги вывелись. А жена босая, воды не в чем принести. Поэтому Дмитро спозаранку принялся за сапоги. Сидел у скамьи против окна, обложенный кусками старой кожи, вошил нитки на дратву и злился, как пес:

— Ей-богу, брошу в печь, швырну в огонь и развяжусь! Кожа перегорела, ниткой не стянешь... вот-вот порвется. Выбрось в мусор да плюнь, — и все!

Приговаривая так над сапогами, Дмитро все же с великим старанием зашивал дыры. Продев дратву сквозь кожу, тревожно глядел, не порвалась ли. Работа шла медленно, и он сердился.

— Железо не кожа, да и то стирается, что уж тут говорить! Уже четыре года как куплены, этой осенью четыре года, конец им. Но эту зиму они во что бы то ни стало должны еще послужить.

И латал, и сердился, и сто раз собирался бросить сапоги в печь или в мусор.

Дмитриха сидела на лежанке и латала рубахи.

— Расползлись на части. Конопли не посеешь — под хлеб земля нужна, полотна не купишь — денег нет. Дойдет до того, что голыми будем ходить. Залатаешь в одном месте, в другом прорвется.

Если б не стирать их, может, не так рвались бы. Как следует я уж не стираю их, но паутина так и остается паутиной. Прямо не знаешь, как чинить, с какой стороны приниматься за них!

С такими мыслями сидела Дмитриха над ворохом тряпья, внимательно вглядываясь в рваные рубахи, и худое лицо ее было безрадостным. Грубое рваное полотно с потертыми красными вышивками было похоже на одеяние солдат, вернувшихся с войны, а она — на милосердную сестру, что с грустью и сомнением хочет хоть чем-нибудь да помочь несчастным раненым.

— Ну, зиму еще как-нибудь переходим, но лето — бог знает.

И прихватывала суровой ниткой заплаты, и думала о своей горькой жизни.

На печи лежала мать Дмитра, маленькая, не больше десятилетнего ребенка, и не переставая кашляла.

— Боженька, боженька, пошли мне смерть, чтоб я так горько не мучилась. Ведь я, должно быть, замолила уже все грехи, какие были у меня. Где-то умирают люди, которым только жить бы да жить, добро оставляют, хозяйство, а я будто твердый камень, которого никто не может разбить. Боже, боже, за что мне такая мука?

И задыхалась от кашля.

Возле старухи сидели дети. Когда старуха сидела и корчилась от кашля, они глядели на нее широко раскрытыми глазами, показывали на нее пальцами и говорили:

— Гляди, гляди, бабушка уже умирает.

Откашлявшись, старуха говорила детям:

— Где, где, деточки, моя смерть? Забыла она меня.

Дмитру опротивело воевать с рваными сапогами. Швырнул их под скамью и начал ругаться:

— Если б я вас в гроб обряжал, было б легче!

Ни обусть вас, ни одеть, ни накормить — не наготовишься. Ходите босые, может, вас скорее уберет от меня...

Сел к столу.

— Да, может, ты дала бы мне поесть, хозяйка моя! Ведь знаешь, что у меня сегодня еще крошки во рту не было.

Дмитриха встала и подала ему вареного картофеля. Была запугана, как овца. Дмитро чистил картофелины, макал их в соль и грыз хлеб.

— Уж и кормишь ты меня! Но я тебя так накормлю, что сдохнешь. Ну, сварила бы борща, или кулешу, или, ну, хоть чорта рогатого, что ли! Сунет картошки — и давься ею! Я уже еле ноги таскаю!

— А что она, сынок, сварит тебе? Масла нет, муки нет, — что она сварит?

— Ваши, мама, разговоры кончились. Сидите себе на печке и кашляйте. Имущества вашего я не проживал, волов и коров не брал, — вот и сидите потихоньку. Лучше подумайте, на что я хоронить вас буду. Ждете смерти, как птица дождя, все твердите: «Боженька, боженька, пошли мне смерть», а ведь это тоже на мою голову...

Старуха хотела заплакать, но кашель помешал ей.

— Ей-богу, оглохну, — сказал Дмитро. — Гей, ты, сорви-голова, зачем виснешь на полке, хочешь горшки перебить? Чтоб ты навеки повис, — и начал бить мальчика.

Дети заверезжали, старуха не переставала кашлять.

— Ой, на эту хату и птица не сядет! — сказал Дмитро.

— Да чего ты к детям привязался, или они виноваты, что сапоги износились?

— Ты, собака, наплодила их, да еще лаешь за них! Я вас всех порежу.

Выхватил из-под скамьи сапог и начал бить им

жену. Затем натянул на себя тулуп и с порога сказал:

— Чтоб я не вернулся в эту хату!

— Иди, иди, слушай рассказы о Канаде! Думаешь, и я с детьми пойду за тобой на край света?! — кинула ему жена вдогонку.

Дмитриха топила печь. Дым заполнил хату, ел глаза, и она вытирала слезы.

Старуха на печке стонала:

— Будь лето, не грызлись бы, — солнышко всех развело бы по полю, а так — ад в хате. Боже, боже, не держи меня больше на свете. Видишь же, что не стоит мне жить.

Дети бегали по хате. Когда в сенях раздавался стук, они спешили к старухе на печь. Лица их становились подавленными, страдальческими. Они затихали, — боялись, что отец будет бить. Но если в хату входил не отец, они опять слезали с печи и скакали по полу.

Так голуби сгаей слетают на ток, а когда хозяин скрипнет дверью хаты, бросают корм и испуганно взлетают в небо.

БЕДА

У Романихи заболела корова. Лежала на соломе и страдальчески глядела огромными серыми глазами. Ноздри дрожали, кожа морщилась, — вся она дергалась в жару. Веяло от нее болезнью и мукой, страшной, немой. В таких случаях больше всего жаль, что скотина не может заговорить и пожаловаться.

— Сразу видно, что не жить ей. Может, я и помог бы чем, если б болезнь была от плохой крови, но на нее кто-то дурным глазом глянул — чтоб они у него вылезли! — вот и нельзя помочь. Положитесь на бога, может, он смилостивится.

Так говорил Илаш, который смыслил в скотине.

— Ой, Илаш, видно, не жить ей, но раз ее не будет, то и меня не надо. Я весь век мучилась, чтоб коровы дожждаться. Без мужа осталась, сын умер в солдатах, а я работала день и ночь, кровавым потом обливалась. Зимние ночи длинные, я до утра пряду, пальцы вспухают, глаза будто пеленой застилает. Один бог знает, как я тот грош добывала, пока не накопила на корову.

— Да, бедному, видно, всегда так: хоть по локти сотри руки на работе, а толку не будет! Так уж устроено, что делать? Надо как-нибудь жить.

— Ой, не знаю, что делать, кто совет даст?

— А вы как-нибудь выберите денек да закажи-

те обедню. А то сходите на богомолье к Ивану Сучавскому, — говорят, очень помогает.

— Ой, и обедню закажу, и на богомолье пойду к Зарваницкой божьей матери, и к Ивану Сучавскому...

— Может, говорю, бог вам поможет, если положитесь на него. Пускай вам бог пошлет всего лучшего...

Илаш ушел.

Романиха села возле коровы и, как бы отгоняя от нее смерть, не сводила с нее глаз. Подносила ей самого лучшего корма, но та не ела, — только глядела на хозяйку и распаляла в ней тоску.

— Маленькая, маленькая, что у тебя болит? Не оставляй старуху без ложки молока. Порадуй меня хоть немного.

И гладила корову по лбу, по шее и голосила над нею:

— Где, где уж мне собрать на другую? Ни пальцев сложить, ни нитки в иголку вдеть не могу. Где мне на старости лет заработать на корову?

Корова дрожала. Романиха покрывала ее своим тулупом и, раздетая, стояла над нею на морозе, стучала зубами, но не отходила.

— А может, это бог за грехи так карает меня? Не раз я из-за тебя, бедная, грешила. Там на чужой меже пасла тебя, там тыкву для тебя тайком сорвала, там травы нащипала. Но ведь я никому молока никогда не жалела. Где ребенок заболевает, где женщина лежит после родов, я иду с горшочком, несу молочка. И творогу давала людям... Господи, не карай меня так, бедную вдову. Больше ничего чужого не трону, только оставь мне корову!

До поздней ночи голосила Романиха над коровой. Кропила ее свяченой водой, — не помогало. Корова вытянула во все стойло ноги, вскидывала

боками, ревела. Старуха гладила, обнимала ее, приговаривала, но помочь ничем не могла.

Месяц через дверь освещал хлев, и старуха видела каждое движение коровы. Наконец корова встала. Еле держалась на ногах. Оглядела стойло, словно прощалась с каждым уголком. Затем рухнула на солому и вытянулась, как струна. Романиха упала перед нею на колени и в беспамятстве растирала ее тряпкой. Корова вдруг заревела и начала лягаться. Романихе стало жарко, в глазах пожелтело, и она, окровавленная, повалилась на землю. Корова била ее ногами.

Обе боролись со смертью.

НОВОСТЬ

По селу разнеслась весть, что Гриць Летучий утопил в речке свою дочь. Он хотел утопить и старшую, но та отпросилась. С тех пор как умерла Грициха, он очень бедствовал. Один не мог справиться с детьми, а замуж за него никто не шел, — дети, беда, недостатки. Два года мучился он с маленькими детьми. Никто, кроме ближайших соседей, не знал, как он живет, что делает. Соседи рассказывали, что он почти всю зиму не топил в хате, — зимовал с дочерьми на печке.

А теперь о нем заговорило все село.

Как-то пришел он вечером домой и застал детей на печке.

— Отец, мы хотим есть, — сказала старшая, Гандзуня.

— Ешьте меня. Что я вам дам? Есть вот хлеб, ну и наедайтесь.

Дал им кусок хлеба, и они вцепились в него, как щенята в голую кость.

— Народила вас и оставила на мою голову, чтоб ее земля выбросила. И где только чума ходит, чтоб она голову сломала, — к вам не завернет. Этой хаты и чума испугалась бы.

Девочки не слушали — отец каждый день, каждый час, говорил так, — привыкли. Ели на печи хлеб, и глядеть на них было страшно и жалко.

Бог знает, как их маленькие косточки держались вместе. Лишь четыре черных глаза были живыми и имели вес. Казалось, глаза эти тяжелы, как олово, и если бы не они, то тело их полетело бы по ветру, словно пух. И теперь, когда они ели черствый хлеб, казалось, что их кости потрескивают.

Гриць глянул на них со скамьи, подумал: «Мертвецы» — и так испугался, что его осыпало каплями пота. Ему стало тяжело, будто на грудь кто-то навалил камень. Девочки глодали хлеб, а он припал к полу, молился, но его почему-то все тянуло глядеть на детей и думать: «Мертвецы».

Спустя несколько дней он уже боялся сидеть дома, все ходил по соседям и, они говорили, очень тосковал. Почернел, а глаза запали так, что не глядели перед собою, а лишь на каменную тяжесть, которая давила ему грудь.

Однажды вечером он пришел домой, сварил детям картошки, посолил ее и подал на печь.

Когда дети поели, он сказал:

— Слезайте с печки, пойдемте в гости.

Девочки слезли. Гриць надел на них рубашки, младшую, Доцьку, взял на руки, а Гандзуню за руку и вышел с ними. Долго шел лугами и остановился на пригорке. В лунном свете огромной струей ртути протянулась в долине речка. Гриць содрогнулся: сверкающая вода уже леденила его, и камень на груди стал еще тяжелее. Он задыхался и с трудом нес маленькую Доцьку.

Спускались к речке. Гриць скрежетал зубами на весь луг. Он чувствовал у себя на груди огненный пояс, который жег его сердце и голову. У самой речки он уже не мог идти, — побежал, оставив Гандзуню. Та бежала следом. Гриць быстро поднял Доцьку и изо всей силы кинул в воду.

Ему стало легче, и он торопливо заговорил:

— Скажу панам, что не было никакого выхода: есть нечего, топить нечем, ни выстирать, ни голову

вымыть, — ничего! Я кару принимаю, я виноват и пойду на виселицу.

Возле него стояла Гандзуня и быстро-быстро повторяла:

— Таточку, не топите меня, не топите, не топите...

— Раз просишься, не буду, но тебе было бы лучше, а мне одинаково отвечать за одну или за двух... Будешь сызмальства бедовать, а потом пойдешь в няньки к лавочникам и опять будешь бедовать. Как хочешь...

— Не топите меня, не топите!..

— Нет, нет, не буду, но Доце теперь лучше, чем тебе. Ну, иди в село, а я пойду заявляться. Смотри, этой тропкой иди все вверх и вверх, а как дойдешь до первой хаты, войди и скажи, что так, мол, и так, отец хотел меня утопить, но я отпросилась и пришла, чтоб вы меня пустили переночевать... А завтра, скажи, может быть, вы отдадите меня к кому-нибудь ребенка нянчить. Ну, иди, уже ночь...

И Гандзуня пошла.

— Ганна, Ганна, на тебе палку, а то на тебя собака нападет и разорвет.

Гандзуня взяла палку и пошла лугом.

Гриць закатал штаны, чтоб перейти речку, — там была дорога к городу. Вошел в воду по щиколотки и оцепенел.

— Во имя отца и сына и святого духа, аминь. Отче наш, иже еси на небеси и на земли...

Вернулся и берегом пошел к мосту.

ДОРОГА

— Я иду, иду, мама!

— Не ходи, не ходи, сынок!

Пошел: дорога расстилалась перед его глазами, ясная и далекая.

Все ворота, все чистые окна, — все мимо.

Любил свою дорогу и не сворачивал с нее никогда.

Днем она была бескрайней, как луч солнца, а ночью над нею ночевали все звезды.

Земля цвела и цветами улыбалась ему. Он рвал и втыкал их в свои непослушные волосы...

Каждый цветок ронял ему под ноги жемчужину.

Глаза у него веселые, а лоб ясный, как вода в кринице у полевой дороги.

И вот встретил людей.

Увязая по колени в земле, они в неисчислимом множестве падали и поднимались.

Грязными ладонями стирали с чела пот и руками хватались за землю.

Изнemoжение валило их, они давили под собою своих детей и ревели от боли.

Поднимались и падали.

Ночь клала их друг к другу, как камни.

Лежали, обернув страшные лица к небу, — море голов против моря звезд.

Земля стонала под ударами их сердец. А ветер покинул их — убежал за горы.

Он читал на этих лицах великую песню борьбы. С их губ он ловил слова, с их чела он брал мысли, из их сердец вбирал чувства. А когда солнце родилось в крови восхода и сквозь длинные ресницы целовало их в глаза, в его сердце родилась песня. Она гремела в его душе, как буря, и колыбалась, как слово матери.

Стал он сильным и гордым. Ветер склонял к нему все цветы.

Шагал своей дорогой дальше.

Она, как полотно, изгибалась под ним.

Проходил мимо всех ворот, — чистые окна убежали от него.

И вновь увидел людей.

Они стояли толпой. Перед ними — колосистое море золота, за ними — дети в тени снопов.

Огонь палил их, железо плакало в их руках.

Полинялые пустыри неба бездушно свисали над ними.

Все в белых рубахах, как на пасху.

Но снопы исчезали из-под детей, и огонь впивался в их белые головы.

Они снова вгрызались в желтые поля.

Постигали их отчаяние и бессилие.

На их лбах одна возле другой залегали глубокие борозды. Губы их высыхали и белели. Сердца обливались желчью.

И песня его души прогоркла, как гнилая пшеница.

Глаза его помутнели, а лоб стал похожим на взбаламученную криничку при дороге.

Сила и гордость его упали на каменистую дорогу.

Он пропитался ядом.

Шел своей дорогой, как птица, которая не слышит своих крыльев.

На свежей пашне под веселой радугой стояла его любовь. Земля радовалась ее чистым следам.

Как беспомощный ребенок, протянул к ней руки:

— Иди!

— Не могу: ты — отрав.

Зашатался, а когда осмыслил свой приговор, положил на черную пашню обломки своей песни и побрел дальше. Шел, как тень от тухлого дуба перед закатом солнца.

Дорога потемнела, как перед молодым слепцом.

В один из дней споткнулся о могилу матери.

Заплакал сухими глазами и упал.

Лбом зарылся в землю могилы и просил мать, чтоб она назвала его так, как называла в детстве.

Чтоб сказала одно маленькое слово.

Долго просил.

Потом положил голову на крест и почувствовал холод от него.

Содрогнулся, поцеловал маленькую яблоньку на могиле и поплелся, безымянный, одинокий.

— Доля, оборви мою дорогу, я уже не могу идти!

И шагал с могилы на могилу, как осеннее перекасти-поле.

А когда оставил за собою сто могил, сто первая была его.

Припал к ней, как припадал когда-то к груди матери.

К О Н Ч И Н А

Когда наступила глухая осень, когда лес уронил все листья, когда поле усеяли черные вороны, — тогда к старому Лесю пришла смерть.

Умирать каждому приходится, смерть не страшна, но долго лежать и ждать, — вот мука. И Лесь мучился. Мучаясь, то погружался в какой-то другой мир, то выплывал из него. А другой мир был мучительно странным. И ничем, кроме глаз, Лесь не мог удержаться, чтоб не упасть в него. Поэтому он жадно ловил блестящим, измученным взглядом маленький огонек каганца. глазами держался за него и боялся, что веки вот-вот сомкнутся и он стремглав свалится в неведомый мир.

На полу заснули его сыновья и дочери, — не могли столько ночей не спать. Он не спускал взора с огонька и не давался смерти. Веки тяжким бременем нависли над глазами.

Он видит во дворе много маленьких девочек, каждая держит в руке пучок цветов. Все глядят на кладбище и ждут смерти. Затем все переводят глаза на него. Туча глаз — и синих, и серых, и черных. И вся эта туча плывет к нему, гладит лоб и студит его.

Открыл глаза, пальцами сжал на шее жилу — голову как бы сбрасывало с плеч, — и подумал:

«Это, должно быть, ангелы перед смертью являются».

Пока он думал, свет лампочки выскользнул из глаз.

Ровное, широкое, сожженное солнцем поле. Оно просит воды, дрожит и притягивает к себе всю зелень, хочет хотя бы из нее глотнуть влаги. Он пашет, но жажда так палит горло, что нет сил держать рукоятку плуга. Волы тоже сжигает жажда, и они роют губами влажную землю. Он выпускает рукоятку плуга из рук, падает на поле, и поле сжигает его в уголь...

Свет каганца вывел его из забытья, из странного неведомого мира.

— И не раз, и не два погибал я в поле без воды, у бога все записано!

И вновь забылся.

В конце стола сидит его покойная мать и поет песню. Тихонько и грустно стелется по хате голос и доходит до него. Это та самая песенка, которую мать пела ему в детстве. И он плачет, и болеет сердцем, и ладонями ловит слезы, а мать поет прямо в душу, и все муки его души плачут вместе с песней. Мать идет к двери, а с нею идут и песня, и муки из его души.

Вновь мелькнул огонек лампочки.

— Мама хочет притти с того света и заплакать над своим ребенком. Бог дал ей такое право.

Ноги ломило от холода. Он хотел накинуть на них тулуп, но глаза опять закрылись.

Над ним звонят горластые колокола и касаются краями его головы. Голова раскачивается, изо рта вылетают зубы. Языки колоколов отрываются, падают ему на голову и ранят.

Он раскрыл глаза, страшные и бессмысленные.

— Я обещал купить колокол, чтоб звонил в случае пожара на селе, но годы были тугие, и я не собрался. Прости мне, господи милосердный...

И вновь скатился в пропасть.

Сверху, со страшной высоты на него падают взлохмаченные снопы ячменя. Падают и заваливают его. Остинки лезут в рот, в горло, жгут красными иглами, собираются все в груди, пекут адским огнем и вонзаются в самое сердце.

Раскрыл уже мертвые, потухающие глаза.

— Мартыну не отдал заработанного ячменя, и этот ячмень убивает меня.

Хотел крикнуть детям, чтоб отдали Мартыну ячмень, но крик не мог продраться сквозь горло и разлился по телу горячей смолой. Лесь высунул черный язык, засунул в рот пальцы, чтоб помочь крику выйти. Но зубы сомкнулись и застыли, защемиив пальцы. Веки с громом опустились...

...Окна хаты раскрываются. В хату всовывается белое полотнище и летит, летит, — нет ему конца и края. От него светло, как от солнца. Оно обвиняет Лесья, как маленького ребенка, пеленает ему вначале ноги, потом руки, плечи... Туго, но ему легко-легко. Потом полотнище вползает в голову и щекочет мозг, входит в каждый сустав и мягонько устилает их собою. И, наконец, оно обматывает горло... все туже, все крепче. Оно ветром шуршит вокруг шеи и обматывает, обвиняет, обвиняет...

ДАВНЕЕ

Они все трое уже в могиле. Уже давно над ними цветут и родят вишни, дубовые кресты в их головах покосились. Умерли они давно: дед Дмитро, старуха Дмитриха и дьяк Базь.

Дед Дмитро выделил четырех сыновей, а сам остался с женой в старой хате. Остался не с одной женой, но и с волами, с коровой, с полем. За двором и волами присматривал сам, в хате хозяйничала жена, поле засевали сыновья, а убирали бедняки за сноп и за третью часть.

Дед ухаживал за волами, поил, чистил их, убирал хлев, двор и выдергивал у плетня чертополох. Но самой главной его работой было не это: он влезал на чердак сарая и перекладывал там старые плуги, бороны, лесенки и ярма, — добра этого скопилось за пятьдесят лет много! И каждый раз он что-нибудь сбрасывал с чердака и тащил на мураву перед хатой. Осматривал, пробовал и поправлял. Это была самая любимая его работа. Должно быть, она напоминала ему молодые годы и поэтому, вероятно, доставляла большое удовольствие. Если он не чесал волов, то обязательно мастерил что-нибудь у старого ярма или старого плуга.

Волов кормил он по три года, а затем выгонял их в город, на ярмарку. Брал за них четыре

сотни, за двести покупал других, молодых волов, а две сотни прятал в старую податную книжку и запирали в сундук.

Хлеба не молотил он более чем по десятку лет, и его двор кругом был заставлен стогами: самый старый стог — черный, тот, что за ним, — серый, за ним — сероватый, прошлогодний — белый, а новый — желтый, как воск.

Каждый месяц он оглядывал стога, не завелись ли мыши, не задохнулось ли зерно. Выдергивал из каждого стога по пучку и нюхал, глядел, не сечется ли колос. Если надо было молотить, нанимал поденщиков... И вновь прятал деньги в податную книжку и запирали на замок.

В церковь они ходили поочередно: старуха — в одно воскресенье, он — в другое, она — на первую богородицу, он — на вторую, она — на пасху, он — на рождество. Перед тем как идти в церковь, он лез на чердак хаты, сбрасывал оттуда сапоги: большие и маленькие. Большие — это его давние, венчалые; маленькие — это его сыновей, когда они еще были ребятами. Он садился с сапогами на завалинку, вытирал их тряпкой и смазывал дегтем. Одни надевал в церковь, а остальные ставил рядом против солнца, чтобы впитывался деготь. При этом он наказывал старухе, чтоб она чесала волов и поглядывала на сапоги, а то их собака утащит. В церкви он отвешивал земные поклоны, клал на тарелку заплесневелый крейцер и, успокоенный, уходил.

— Дедушка, вы отучитесь разговаривать, — говорили ему люди.

— Мои однолетки вымерли и на войнах погибли, мне не с кем говорить...

Вернувшись домой, он ел хлеб с чесноком или сало, если был скоромный день. Сала в кладовке было три бочки: в одной — трехлетнее, желтое и мягкое, как масло, — это его сало; в другой

двухлетнее, полужелтое, полубелое, — это старухино сало; а в третьей бочке было белое, как бумага, — это детей. Они любили только свежее сало. После обеда он шел к волам, потом вскидывал на чердак сапоги и сапожонки и шел под вишню спать. Так шли у деда дни за днями — мирно и покойно. Никогда у него не болели зубы, никакой хворости он не знал, всю жизнь прожил без помощи знахарки.

Старуха Дмитриха была огонь, а не женщина. Она любила разговоры, пересуды, — без них не могла ни есть, ни спать. К старику с разговорами она не подходила, он все молчал, а когда она пыталась перекинуться с ним двумя-тремя словами, бросал все, что было в руках, и уходил от нее прочь.

— Вот, старый пень, думает, я его целовать буду.

Плевала и шла за ворота или к пруду искать женщин, падких на разговоры. А дед возвращался к своей работе и бормотал под нос:

— Ясное дело, все уже состарилось в ней — лицо, как старое голенище, волосы, как молоко, — а язык не состарился. Сто ковшей в день перемелет да еще глядит, нет ли других ста...

Старухе не дал бог дочери. Она с молодых лет все ждала девочку и готовила для нее приданое. Дочери не было, но старуха наткала и нашила столько, что сундуки от полотен и ковров трещали. Дед не раз со злостью спрашивал: кому это она столько шьет и ткет?

— Иди, старик, иди, не трогай меня, а то я твое старье, что черви на чердаке точат, в огонь брошу. Ты только коснись моих сундуков, я и плуги, и возы твои — все в печь!

Дед хохлился, как воробей, и убегал от старухи, — ну где ему спорить с ней! А старуха садилась на скамью против сундуков и разговаривала с собой:

— В каждом отделении всего поровну — и здесь, и там, и там. Каждая невестка пускай берет себе любую часть: хоть эту, хоть ту, — все одинаковы. А пятую часть — церкви за старика и за меня. Этой не трогай ни одна, руки отобью!..

В воскресенье, после полудня, к старухе приходили все невестки с внуками. Такие чернобровые, как гвоздики, и такие румяные, как калина. Старуха усаживала их за стол, подавала им самого свежего сала, разговаривала с ними и кудахта-ла, как клушка среди цыплят:

— Когда умру, каждая из вас пусть возьмет одну часть в сундуке, там всего поровну, для меня вы все одинаковы, все мои дети. Но, если дед после меня останется, ни одна ни одной нитки не трогайте. Возьмете, он затоскует и сразу умрет. И мужьям закажите, чтобы они у него с чердака ничего не трогали, потому он все это так любит, что без него дня не может прожить. Этим они зарезали бы его, пускай господь сохранит. А как я умру, должны все четыре голосить надо мною звонкими голосами и хорошими словами. А дед если умрет, то над ним вы должны голосить еще лучше и еще лучшими словами. Он вам оставит столько денег, что играть будете ими...

Старуха плакала, невестки тоже плакали, потом старуха каждую из них целовала, вела в другую комнату и показывала холсты. Во дворе с дедом играли внуки; каждый из них получил от старухи булку и яблоко и внимательно разглядывал старое деревянное ярмо. Дед показывал вырезанных на ярме волов, плуги, погонщиков и говорил, что скоро и они будут ходить в поле пахать.

Когда заходило солнце, невестки с внуками шли домой, старуха провожала их за ворота и там долго еще говорила с ними.

А третьим из них был дьяк Базь. Он не приходился им ни сватом, ни братом, — только жил не-

подалеку, через огород. Был он одиноким, старым, и старуха носила ему обед и ужин, но он, вероятно, никогда не ел старухиных обедов, так как всегда был пьян.

— Базь, зачем вы столько водки пьете? Она когда-нибудь загорится в вас.

— Бабуся, Дмитришка, как мне не пить, если в моей голове книжки, как зайцы, бегают? Каждый стих, каждое титло лезет, чтоб я их читал или пел, и у меня голова раскалывается. Соберутся все, как ватага малых ребят, и хотят в одни узенькие двери протолкаться и дать о себе знать. А голова у меня вон какая маленькая, да еще острижена, ну, куда мне их деть? Хорошо, что вы своих детей рассадили по усадьбам, а мои всегда со мною. Вот я и должен водкой их поить. Напьются и дадут мне покой.

Старуха печально покачивала головой:

— Вот такая наука страшная! Это тебе не цепом махать, — и вновь давала Базю денег на водку.

За это дьяк не раз приходил к старухе в воскресенье и читал смешные книжки. Сыновья и невестки помирали со смеху над Луцем Заливайкой и Индюком, у которого только и ума, что в хвосте.

Однажды Базь прочитал им такую страшную книжку, что старуха и невестки расплакались, а сыновья осоловели:

«Земля не даст плодов своих, на скот ваш пошлю заразу — и погибнет, а людей ваших потоплю. Дожди не упадут на землю, и земля будет, как камень, и не даст плода...»

Базь и сам почувствовал, что хватил через край, и нашел в книжке такие слова:

«Кто этот лист имеет, или часто читает его, или с прилежанием слушает, или переписывает, тот сподобится милости божией... В котором доме этот лист находится, там ни огонь, ни гром — никакое злое слово не может сделать беды».

Это немного ободрило и Базя, и старуху, и невесток. Они дали дьяку денег, чтобы он купил им такую книжку. За старухой и невестками потянулись и другие сельчане — давали дьяку денег, чтоб их хаты тоже были застрахованы от огня и грома. Дьяк накопил и книжек, и еще новую свитку, справил себе заодно и новую трубку. Потом каждое воскресенье читал эту книжку всякий раз у новой хозяйки и брал за это две шистки¹ на водку и калач на закуску. Уже немного хат осталось обчитать — только под лесом кой-какие бедные, — но Базь заболел. Кинуло его в холод, потом в жар, потом, рассказывали люди, из его рта вышел маленький синий огонек, и Базь отдал богу душу. Должно быть, водка все-таки загорелась в нем. Все женщины оплакивали его, как родного брата.

Старуха Дмитриха не долго горевала, осенью сама пошла за дьяком в дальнюю дорогу. Дед Дмитро тоже не долго проскрипел без старухи — к весне побрел в могилу.

Люди давно забыли о них, только грамотные, когда зайдет речь о том, как возникла в селе читальня, вспоминают:

— Самое начало пошло еще от старого деда Дмитра да от его старухи и дьяка Базя. В их хате дьяк начал впервые читать книжечки. Еще и теперь кое-где торчат в щелях стен «Божьи листы» и «Луць Заливайко», но теперь уже никто не читает их, минулось...

— Ой-ой, минулось...

— И сало в трех бочках минулось.

— Ого, конем не догонишь!

¹ Шистка — около 20 копеек.

ВЕСТНИКИ

То будут старые, бедные вдовы, или их внуки, или старые деды, что ютятся возле своих детей и каждый день чувствуют, какая они тяжесть в хате, или молодые женщины с маленькими детьми, мужья которых ушли в город и забыли о них. Они вереницей будут итти в поле, мимо крестов, которых теперь уже не скрывает зелень, будут оставлять за собой блестящие, гладкие дороги и расхаживать по серому монотонному жнивью, — дети будут искать колосья, а старшие выдергивать корни сухого бурьяна.

И дед Михайло пойдет со своими внуками, двумя мальчиками и, старшей среди них, Оксаной. Мальчики будут, как жеребята, то обгонять деда, то отставать от него, а Оксана будет итти рядом с ним. Он будет нести драную грязную дерюгу на плечах и покашливать, Оксана будет держать в руке хлеб для мальчишек и для себя. Будет это в полдень, и дед скажет Оксане:

— Это солнце, деточка, уже с холодком.

Они будут итти, итти и остановятся на одном из полей. Дед станет у межи, Оксана пойдет серединой поля, а мальчики начнут искать норки зверьков, кнуты и ножички, потерянные пастухами.

Оксана будет поднимать каждый найденный колосок и складывать их в левую руку, а когда

пучок станет большим, положит его у овражка, чтобы потом легче было найти. Она обойдет все рвы и ямки, — в них чаще попадаются колосья. Сто раз в минуту будет наклоняться и вглядываться, как старательная труженица. Вскоре перед ее глазами начнут мелькать желтые или синие нятна, или одна половина поля будет обычной, а другая станет зеленой. Она остановится, прикроет ладонью глаза и с минуту будет так стоять. Потом быстро отнимет от глаз руку, и марево исчезнет. Или она запоет песенку, — запоет только для себя, потихоньку, с большим стыдом и ясной радостью от того, что она уже умеет петь. Будет выводить звук за звуком и слово за словом, робко и неуверенно, как ребенок, который учится ходить и с радостью касается чистыми ногами земли. А если найдет колос, оборвет песенку и вновь затянет ее. А дед возле межи будет говорить:

— Что-то мешает мне дышать, а что — не знаю. Если б разрезать грудь да выпустить оттуда залякшуюся кровь, то я, может быть, еще пожил бы немного.

И будет выдергивать корни и будет кашлять, садиться. Во время работы в его голове будут проплывать мысли об осени, о зиме, о весне. В голове заронится такое, что он забудет о корнях, о кашле.

«Когда зимою в хате тепло, не так есть хочется. Встанешь рано, отметишь снег от порога, наберешь корней, наложешь их в печь, затопишь — в хате сразу веселее станет. Катерина сварит супу с пшеном, встанут дети, а для них уже есть ложка горячей еды, печь теплая, и тебе, старику, с ними тепло. Если лучшего нет, то и так хорошо. Корни, если они сухие, хорошо греют».

И дед, старательно, с большой охотой, будет выдергивать корни. А мысль будет догонять мысль, и он не сможет отогнать их.



«Не умереть бы, пока мальчики подрастут. Я б рассовал их по людям, чтобы каждый работал на себя, а глупая женщина... что она знает? Только плакать. Я б их поставил на дорогу лучше, чем она».

Затем он позовет внуков. Они подбегут к нему с выдолбленной тыквой.

— Эй, парни, а вы почему Оксане не помогаете?! А есть хотите? Идите, возле нее немного поиграйте, а то ей скучно.

Внуки пойдут к Оксане, а дед будет дальше разматывать свои думы: «Парни здоровые, рослые, только бы дождаться годов. Меньший замысловатый, как дед. На зиму просит сапоги. А то, говорит, ему на печке нехорошо. Сколько смеху с ним; если помрет, осиротеет...»

Дед будет глядеть и на солнце, — низко ли опустилось оно, и на коренья, — достаточно ли он надергал их? Потом позовет Оксану помогать сносить коренья и отряхивать с них землю. Они сложат их в ворох и станут колотить палками. Столб пыли поднимется над ними, дед будет кашлять, Оксана зажмуривать глаза, а внуки — есть хлеб. В этот час солнце будет клониться к закату. Из окружающих сел долетит на поле звон колоколов и будет стлаться с вечерней росой по жнивью. На дорогах заблеют овцы и закричат пастухи, на полях пахари будут выдергивать из борозд плуги и собираться домой. Из долин поднимется синий туман. Воронье стаями потянется к селу, в сады, собаки уже не смогут ловить на полях перепелок и побегут к домам.

Дед Михайло будет креститься, стряхивать с рубахи пыль и кашлять. Потом сложит коренья на дерюгу, внуки помогут ему поднять их на плечо — и выйдут на дорогу. Оксана будет нести снопики собранных колосьев, а внуки будут совать за пазухи выпавшие из дерюги коренья. Пока дойдут

до дому, пазухи их вздуются, а животы станут грязными от пыли.

...По селу все они будут идти устало: и бедные вдовы, и их внуки, и деды, и молодые женщины, которых покинули мужья... — все с надерганными на полях корнями, со снопами собранных колосьев.

Они возвещают, что наступает осень.

М А Й

Данило ждал у белых ворот, глядел, как вор, в господский сад и не решался войти.

— Разве я знаю, можно ли туда входить? А если выбежит и даст по морде, — откуда я знаю, что не даст?

Чистенькие, ровные дорожки шли по господскому саду, и он боялся, что за ходьбу по этим дорожкам его изобьют, а пройти во двор можно было только по ним. Вот он и ждал у ворот.

Все мужики, — а их много миллионов, — умеют долго и терпеливо ждать. Если барин в канцелярии, они ждут стоя. Пусть их соберется неведомо сколько, они не дадут о себе знать. Стоят тихо, лица их становятся каменными, осмысленное выражение постепенно исчезает с них, стекает куда-то на плечи, под рубахи. В стоячем сне они бесчувственны, бесконечно равнодушны, и чиновник среди них похож на черную муху, залезшую в густой мед. Крайнему, тому, что стоит у стола чиновника, хуже всех: он не может погрузиться в спячку. Он ежеминутно широко раскрывает глаза и тревожно оглядывается. За ним соседи протирают глаза, оглядываются, и беспокойство переднего передается остальным, вплоть до последнего, того, что оперся о печь. Тот, что стоит у стола, — как ветер на ниве, что тревожит все колосья от дороги до межи.

Если чиновника нет в канцелярии, мужики садятся на корточки. Хорошо полчасика отдохнуть, — хорошо, если хоть одна рука или одна нога отдохнет. Сползаются и приседают в самых разнообразных положениях. Только шапки держат бережно, чтобы не измять. Когда ладно устроятся, начинают шептаться:

— Кабы трубкой подымить немного.

— Бросьте, ну ее!

— А табак у вас покупной?

— А у меня на огороде растет.

— Молчите, а то еще кто-нибудь услышит, да...

Все тянутся руками за пазухи, еще дальше, чуть не на спину, прячут табак: вдруг, на беду, кто-нибудь обыщет. Шопот стихает, лица деревенеют, на губах показывается слюна, головы клонятся долу. Но если окажется среди них кто-нибудь нетерпеливый, он, как тот, крайний, что у стола, никому не даст спокойно посидеть. Или рука у него занемет, или его кольнет что-то в спину, — он не выдержит и пошевелится. За ним задвигаются соседи, и равновесие сбитых в кучу локтей, плеч рушится. Все начнут наново укладывать ноги и руки, и вновь какой-нибудь несчастный случай все разрушит.

— Какне бывают беспокойные люди, господи! — скажет кто-нибудь из терпеливых и сомкнет веки.

Так ждут все они.

Так ждал и Данило у барских ворот, хотя и был один. Его одолевали сонливость, равнодушие, и мысли цеплялись друг за друга. Когда он шел к барину, у него бы ясный план. Он увидит барина, снимет шапку и пойдет к нему так, как аист ходит по лугу — осторожно, чтоб господского камушка ногой не обидеть. Когда подойдет совсем близко, уставится глазами на пана и будет глядеть так, чтоб барин подумал: «Это какой-то очень бедный». Потом приложится к руке, поцелует ее с

обеих сторон, лбом дотронется до ладони и немного отступит назад. Опустит низко плечи, швырнет шапку на землю, вытрет рукавом губы и скажет:

— Я пришел к пану наниматься. Туго мне перед жнитвом, детей имею четыре души, а земли маленький кусочек. Должен наниматься, а работу я всякую знаю, — всю жизнь в батраках. Прошу божьей и вашей милости, чтоб мы договорились и чтоб пан заплатил мне часть натурой сейчас же, чтоб мог я отдать жене, детям, а на работу я готов стать хоть сейчас.

Первое слово барина будет такое:

— Ты, видно, вор?

— Я, пане, даже стебелька чужого не тронул.

— Зачем врешь, поганец? Чтоб мужик да не крал, кто этому поверит? Разве ты не мужик?

— Я совсем простой мужик, но чужого не люблю брать.

— Так ты, верно, пьяница?

— Я с водкой не вожусь, не на что пить.

— Бреешь, как пес! Да ты без водки умер бы.

— Без водки не умру, а вот без хлеба пожалуй что...

— Уж очень ты умно отвечаешь, значит, был в тюрьме, там тебя научили уму-разуму.

— Пускай меня бог хранит! Я полжизни прожил, а нога моя в тюрьме еще не бывала.

— А зачем ты столько детей наплодил?

— Это от бога, барин.

— Это поп научил тебя отвечать так?

— Я с попом не вожусь, для этого деньги нужны, а мне даже в церковь не в чем ходить.

— Так ты, значит, радикал и не даешь попу с себя шкуру сдирать?

— Если б я и хотел дать что попу, то не дам, потому у меня ничего нет, а он хотя бы и хотел содрать с меня, не сдерет, потому нечего сдирать. Вот мы и не сходимся...

Данило заранее знал, что пан сначала должен смешать его с грязью, насмеяться над ним, а уж потом взять на работу. Дорогой он был уверен в себе, а здесь, у ворот, заколебался. Он был из другого села и не знал, как войти на панский двор. Кругом чистое поле, спросить не у кого, — и вот ждал. Его ясный план спутался, он чесал затылок и робко заглядывал в сад.

— Они этими дорожками гулять ходят, ишь, как усыпали песком.

Глаза его долго блуждали и остановились, наконец, на павлине, который сверкал во дворе перьями.

— За этот хвост можно крейцер иметь, если забежать да намотать его на руки... А вот едят ли его мясо — не знаю.

Он окинул взором постройку.

— У этого пана земли достаточно да и хорошо обрабатывает ее. Да-а, и куда он все деваает?

Его мысли разбежались в стороны.

— Весна такая хорошая, веселая, что эх!

Больше он ничего не замечал. Сидел, как столб, и чувствовал, что уснет. Чтоб отогнать сон, он широко открывал глаза, тер рукою лицо и похож был на несчастливого борца, который вот-вот сдастся на милость врага. Прилег на один бок и хотел устроиться так, чтоб можно было не то спать, не то ждать. Потом вытянулся во весь рост и закрыл глаза. Не проспал и минуты, как какой-то голос шепнул ему:

— Спи, спи под панскими воротами, кучер так опояшет тебя кнутом, что кровь брызнет.

Он вскочил, испуганно глянул по сторонам и стоял, как подстреленный. Постоял немного, махнул рукой и пошел от ворот в поле. Забрался в траву и лег спать. Снились ему и барин, и его руки, и песчаные белые дорожки. Барин говорил ему, чтоб он надел шапку, но он не хотел делать этого:

— Я, прошу прощения, бедный человек, я не могу перед вами надеть шапку на голову, потому я бедный, такой бедный человек...

Сладкий сон навевал эти видения, и Данило спал спокойно.

Солнце смеялось над ним, обливало его лучами и ласкало, как родная мать. Цветы целовали его черные нечесанные волосы, кузнечики перепрыгивали через него. А он спокойно спал, и черные ноги и черные руки его казались приделанными к его загорелому, кирпичному телу.

ПОДЖИГАТЕЛЬ

I

Сельский богач Андрей Курочка сидел за столом и не обедал, а давился каждым куском. Домашняя челядь входила в хату с грязными ведрами, спешила, бранилась, выносила скотине пойло. Дети богача и работники были грязными, чахлыми, — все влачили на себе неотесанное, тяжкое ярмо мужицкого богатства, которое никогда не дает ни покоя, ни радости. Сам богач горше всех томился в этом ярме, громче всех проклинал свою долю и безустанно понукал детей и батраков.

Возле него на лавке сидел его долголетний работник, старый Федор.

— У меня никогда не бывает такой счастливой минуты, чтоб я мог спокойно кусок хлеба проглотить. Бегаю, подгоняю, загоняю, и вы увидите, что я где-нибудь упаду и сдохну! Еда не идет в меня, раз я знаю, что батраки без моего пригляда ничего не делают в риге. Им бы только нажраться и время убить. Да что о чужих говорить, если свои дети... и те не хотят работать! Я, ей-богу, не знаю, как этот народ будет жить на свете? Все пойдут в попрошайки...

И ел так жадно, что глазам его было тесно в орбитах.

— А вы, Федор, чего пришли?

— А вы разве не знаете, зачем мы ходим? Зима идет, а я босой. Дайте мне два лева под работу.

— А вы разве еще можете работать? Ваша работа кончилась, Федор!

— Да я готов не работать, если б кормил кто.

— Э, нет! Теперь даром кормить нельзя, теперь такие работнички, что и за работу не стоит кормить! Я говорил вам: пусть ко мне нанимается ваша девка, вот у вас теперь и были бы деньги.

— Не захотела, нанялась в экономню.

— Да уж кто не хочет работать, тот идет в экономню: хоть еды мало, зато дурака валять можно. Бедняки такими стали, что готовы один раз в день есть, лишь бы ничего не делать, — вот это им рай! Сколько работают, столько и имеют, — вот что судил им бог. Теперь надо в веревку скрутиться, чтобы иметь что-нибудь. Два лева я вам дам, что мне с вами делать! Может, как-нибудь отработаете, но больше не приходите и не жалуйтесь, не дам. Сами видите, что ваша работа ничего уже не стоит.

— Как же мне, Андрей, к людям не ходить? Куда я без них денусь?

— Куда хотите, туда и девайтесь, а хозяевам вы больше не нужны. Ищите работы у барина или у шинкаря, работа там легче.

— Хороший совет даете! Все силы свои я положил у вас, а на старости должен идти к шинкарям воду носить.

— Вы у меня не даром клали силу.

— Ну, будьте здоровы!

И Федор вышел из хаты.

— Ох, уж эти нищие, они все забрали бы! Все кашляет, слюна из него течет, цепа в руках не удержит, а петушится! Чтоб тебе пусто было! Думает, я деньги сам кую или ворую!

Федор шлепал по грязи и шептал:

— А где я, Андрейка, свою силу оставил? Или я ее проплясал, или я ее пропил? Вся она осталась у тебя, на твоём дворе. Где же я, Андрейка, свою силу оставил?

В хате сбросил рваные сапоги и лег. Лежал до вечера и без ужина заснул. До петухов вскочил, ударился боками о доски, вновь лег и вновь вскочил. Через маленькое оконце на него глядела осенняя ночь. Нет, не ночь — это черная тоска голосила в углах и глядела оттуда серым, немилосердным оком. Она так навалилась на Федора, что он не мог шевельнуться, и ему мерещились в окне какие-то мелькающие лица, а в воздухе роились видения.

...Вот сидит он среди маленьких барчат, приглядывает за ними, пестует их, а они таскают его за волосы, плюют ему в лицо...

...То он стоит на коленях в церкви, в том углу, где нищие бьют лбами об пол. Он бьет лбом крепче всех, и женщины подходят к нему, и каждая кладет по караваю хлеба. Он прячет хлеб за пазуху, прячет и становится таким толстым, что люди расступаются перед ним, а ему стыдно-стыдно, а лоб так болит!..

...О! он идет огородом Курочки, не идет, а крадется к риге. Выдергивает клоч соломы из стрехи, высыпает в него из трубки огонь и убегает, убегает... Чувствует и как будто даже глазами видит, как сзади из-под стрехи вырывается маленький красный язычок, лижет солому и прячется...

— Ой! ой! ой!

...Этот красный язычок впился в его мозг. Федор с трудом вырвался из невидимых оков, вскочил и посмотрел в окошко. Черная скорбь, как палач, пронизала его насквозь. Вот-вот она опять свалит его и будет пытать своими видениями. Охваченный страхом, он не находил выхода, завер-

телся, лишь бы куда-нибудь убежать. И вот перед ним будто бы какие-то ворота открылись, ему стало легче, и он торопливо пошагал к ним...

II

Пожалуй, ему не было еще шестнадцать лет, когда он уходил из родного села. Такого ясного дня, такого веселого солнца он никогда не видел! Оно ласкало зеленые травы, синие леса и белые воды. За селом оглянулся. Если бы его кто-нибудь догнал и сказал одно слово, только одно слово, — он вернулся бы, ой, как вернулся бы!

— Он меня бьет, тиранит, есть не дает, гроша на меня истратить не хочет, — раскатывался его голос по зеленым травам. — Чтоб тебя, отец, земля не приняла!

И пошел еще скорее. Минул сельские поля, прошел через два села и с бугра увидел город, — тот блестел и лоснился на солнце, как змей...

Все удивлялись его силе и побаивались. Господа не подтрунивали над ним, батраки не поднимали его насмех и не задевали. Он бросал мешки, как галушки. И так день за днем — от житницы к телегам, от телег к житнице.

— Спина моя треснет от этих мешков!

— Пей водку, занемет.

И правда, от водки спина занемела, боль как рукой сняло.

По воскресеньям и в праздники он шел с товарищами в кабак. Кабаки эти стояли за окраиной, между селом и городом. Кто уже не имел в селе пристанища, тот брел прежде всего сюда, а кто лишился в городе работы, тот возвращался тоже сюда. Это было не село и не город.

Занятно бывало в кабаках!

Тон задавали здесь обычно господа из города.

Рассказывали, какое у них раньше было богатство, какую одежду носили, сколько получали из цесарской казны каждого первого числа. Мужики слушали их, с почтением угощали водкой, но, подвыпив, обретали чувство независимости, и тогда господам приходилось туго.

— А ну-ка, баре, шевелись! Беритесь за шен и танцуйте нам польку! А мы поглядим, как это делается у больших господ!

Господа танцевали, вернее — вынуждены были танцевать; мужики обступали их и гоготали так, что кабак дрожал:

— Гоп, валяй!

— Еще раз!

— Полегоньку, плавно, враз!

— Гоп, будет! Теперь пейте водку, забирайте своих господских вшей в карманы и марш из кабака! Мужики хотят одни танцевать.

И господа, как зайцы, разбегались.

— Я господ умею муштровать, они легкие, как перья: подуй — и полетели!

— Гей, шинкарь, давай водки, давай пива, давай рому! Гуляем!

Кабатчик быстро ставил все на стол и сразу же получал деньги.

— Ты, Безбокий, чего ревешь? Оплакиваешь бока? Пей и запри губы, мне весело!

Безбокий разрыдался еще громче.

— Замолчи, бить буду!

— Не трогай!

— А ты кто такой, холоп?

— А ты что за барин?!

Федор встал из-за стола и ударил забияку по лицу. Тот схватил скамью.

— Ты в воскресенье дерешься? Ой, грех! — и ударом скамьи сбил Федора с ног.

Образовались две стороны. В кабаке все зашевелилось. Кабатчик убежал, водка лилась на пол,

столы и скамьи покраснели от крови и разлетались на куски. А в грязи из слюны, водки и крови лежали обе стороны и стонали. Только Безбокий сидел в уголку и ревел, как вол, неведомо о ком и о чем.

Вскоре прибежала полиция отрезвлять голытьбу. С горькой руганью кое-как поднимала людей на ноги и одним махом сбивала с ног. Бедняки падали, как дубы, а поднимались, как глина. Их протрезвили и отправили под арест.

Ехал полевой дорогой на возу с мешками. Пшеница и рожь золотыми и серебряными волнами кланялись друг другу под легким ветерком. По золоту и серебру плавали легкие, темные, как тонкая шелковая сеть, тучки. Море солнца в море бескрайних полей! Земля под колосьями звенела, пела и говорила словами.

— На, Мошка, вожжи, я ухожу от тебя.

Соскочил с мешков и пошел среди ржи межами. К вечеру дошел до хаты Андрея Курочки.

— Ты, наверное, или вор, или бездельник: хороший человек не уйдет из своего села и не будет шлаться по свету.

— Увидите! Отец в голодные годы продал то, чего не пропил при барщине, потом принял в хату зятя и умер. Зять так бил меня, что я убежал.

— У вас, у прикарпатских, кажется, на коровах пашут?

— Нет, это дальше, немцы на коровах пашут.

— Ну, сбрасывай опорки да вынеси в сени тулуп, чтоб вши не напоззли ко мне, и ложись. А церкви у вас такие, как у нас? И поп есть?

— Все то же, что у вас.

— Ну, посмотрю, какой ты. Не будешь воровать и бояться работы, найму уж.

Нанялся. Село узнало, что он не вор, что он хо-

роший работник, что он хочет стать на ноги, и приняло его. А он узнал, как какое поле называется, чье оно, вымокает или высыхает, кто в селе наилучший вор, кто наибольший богач... и стал сельским.

Побатрачил несколько лет, и добрые люди начали советовать ему, как стать хозяином:

— Ты не будь глупым и, если кто даст тебе кусок огорода, а девка хорошая и старательная, бери. А если у тебя есть за хозяином деньги, еще приработаешь — и ставь себе хату. Пусть она будет не больше хлевушка, но она твоя. Дождь, или зима, или нет работы, ты уж не кукуешь в углу богача и не гниешь на конюшне, — у тебя свой угол. Слушай меня, старика...

Женился, строил хату и надрывал силы на чужой и своей работе. На плечах таскал из города доски, отрабатывал снопы соломы, взятой на крышу, зарабатывал деньги то на окна, то на двери. Два года прошло, пока ставил хату. Маленькая, неприглядная, она выглядела среди других хат, как забитая маленькая взъерошенная курочка в хорошем курятнике. Но Федору она была мила..

Прошло более десяти лет, и к Федоровой хатенке люди принесли церковные хоругви. В хате на скамье лежала его Катерина... большая, толстая, почти страшная. Федор прижимал к себе детей — одиннадцатилетнюю Настю и восьмилетнюю Марийку — и все спрашивал их:

— Что будем, доченьки, без мамы делать? Которая из вас отцу обед сварит?

Когда жену клали в гроб, он зарыдал.

— Берите ее полегоньку, у нее очень изболелось тело. Ой, Катеринка, я еще не успел наговориться с тобой, а ты разгневалась и ушла от меня.

Он припал к покойнице и целовал ее в лицо.

— Люди, я никогда ей слова не сказал, я за работой все забывал. Прости меня, Катерина, друг ты мой добрый.

Плач женщин вырвался из хаты и поплыл по селу.

— Она, люди, как пошла за меня, так будто в воду нырнула, никто не видал ее. Только теперь вынырнула среди вас в гробу. Я ей ни одного плохого слова не сказал. Ни одного словечка!..

И еще прошло несколько лет. Однажды вечером пришла из экономии Настя. Федор глянул на нее и побледнел:

— Настя, бедняжка, ты одна, а где твой муж?

Настя заплакала, заголосила. Он ни слова не сказал ей больше. Только потом, когда провожал ее обратно, на прощание сказал:

— Дай тебе бог, дитятко, всего лучшего, но гляди, не забудь ребенка. Стыда уж не прикроешь, а тяжкий грех возьмешь на душу. Передавай через людей, как там живетя тебе...

А годы не стояли — шли. Федор всю зиму не выпускал из рук цепа, всю весну — рукоятки плуга, все лето — косы. Кости болели, края их стирались и горели. На помощь приходило воскресенье: он шел под вишню, ложился на зеленую траву, и та будто высасывала из него боль. Но пришла пора, когда воскресенье уж не могло исправить того, что портили будни, — трава не могла выпить боли, что запеклась в старых костях. А в груди угнездился кашель и не давал покоя ни у косы, ни у плуга, ни у цепа...

Занимался рассвет, оконце побелело, и Федор вернулся из дальнего странствия по прожитой

жизни. Умылся, помолился и стал собираться в экономию.

— Наймусь к барину с весны, возьму на сапоги, возьму немного хлеба, крупы да как-нибудь и перезимую, а там пойдет работа...

III

Белые узкие стежки связали все хаты, только хата Федора стояла за сетью тропинок, словно нежилая. Он зимовал, как медведь. Рано вставал, чтоб затопить печь и сварить что-нибудь, а потом весь день и всю ночь лежал на печке. Чем крепче становилась зима, тем чаще впадал он в детство.

— Теперь, Федор-бедняга, встань и отрежь себе кусочек хлеба, только тоненький, господский. Ты, вижу, проголодался.

Он смеялся, слезал с печки, резал хлеб и глядел у окна, господский ли вышел кусочек.

В темные зимние ночи он громко, на всю хату, говорил страшные слова:

— Село вымерло, а мне и горя мало, я в его сторону и не гляжу.

Эти слова пугали его, он потел, спрыгивал с печки к окошку, чтобы увидеть, есть ли в кабаке свет. Успокоившись, возвращался на печь.

Если просыпался среди ночи, сразу не мог понять, где он, что с ним, ударял в потолок кулаком, и боль возвращала ему сознание.

В эту зиму его хата заполнялась упырями и призраками. Они гуляли по хате, как озорные дети. Выбегали в сени и выстуживали хату; вылетали через трубу на чердак и так прыгали там, что с потолка падала глина; стучали в окна, чтоб выманить его во двор. Он не поддавался им, подавлял в себе страх, — тогда они взбирались на печь и щипали его, душили, пихали в рот портянки. А в одну из ночей в хату слетелись все черти.

Танцевали так, что хата тряслась, и подняли такой ветер, что Федор коченел на печке. Потом в изнеможении сели за стол и высунули языки, такие же красные, как тот маленький, какой он запустил в ригу Курочки. Он лежал как мертвый, еле поднялся, когда запели петухи, и начал молиться. Но и во время молитвы черти не давали ему покоя. Он не мог вспомнить даже те молитвы, которые хорошо знал, и забыл, как надо креститься. Привидения так измучили его, что к весне он еле дышал и побелел, как бумага.

— Надо занять денег и обязательно освятить хату, а то в нее нечисть со всего света сползлась. Выпила из меня кровь, меня ветер с ног свалит!

Когда заблестало весеннее солнце, он смазывал сапоги, чинил рубахи, плел завязки к постоям и тешился мыслью, что скоро пойдет на работу:

— Оденусь, обуюсь хорошенько и пойду в экономию. Прошу вельможного пана, явился к вашей милости.

— Хорошо, Федор, — скажет ему пан, — ты, я вижу, обстоятельный человек, раз в срок по договору на работу становишься.

И Федор, латая рубахи, сладко улыбался.

IV

Федор стоял посреди панского двора и грустно глядел на ряд плугов, что тянулся из ворот сарая, как цепь, в которой железо связывало мясо людей с мясом быков.

— Моя пахота кончилась! Состарилось огниво, ну, и выбросили, чтобы цепь в дороге не порвалась...

Покачал головою и пошел к риге за кормом свиньям. На дворе весь день было тихо. Только от батрацких хатенок долетали крик баб и плач детей.

Если бы выбрал кто в селе самые бедные хаты и согнал в них самых оборванных мужиков и самых желтых баб да подбавил голой мелюзги — детей и все это поставил близко друг к другу, — тот получил бы правдивый образ этих хатенок и их обитателей.

Федор глядел со двора на эти хатенки и недовольно тряс головой:

— Как же, пойду я жить в такое пекло! Я буду спать в хлеву, теперь не зима. Не пойду я в этот ад.

Вечером он пошел в хлев. У яслей двумя длинными рядами стояли волы и лениво жевали сено. Возле каждого четырех стойл сидел погонщик и присматривал, чтоб волы не выбрасывали под себя корм. Между рядами волов на земле сидели плугатары и сеяльщики. Они чинили постолы, штопали веревочками дыры в одежде и строгаали палки, которыми счищают с плугов землю, — каждый что-нибудь делал. Возле них присел Федор. Волы один за другим лениво опускались на солому, за ними в ясли улеглись погонщики, за погонщиками — плугатары. В хлеву воцарился тяжелый покой, тот, что после долгой пахоты наваливается на работников и скотину тяжелым камнем. Федор тоже залез в ясли.

— Свинопас, гей, иди от волов к свиньям! Тебе еще постель стлать здесь! Марш от волов! Твоя Марийка здорово нас допекает! С кучером воловодится, чортова стряпуха, и дает ему все лучшее, а теперь еще ты лезешь на нашу голову! Марш отсюда!

Федор выбрался из яслей и лег под воротами на вязанку соломы. Забытая обида снова проснулась в нем.

— Грех будешь, Андрей, иметь из-за меня, грех.

Хлев стонал, зевал, сквозь сон говорил и так тяжело дышал, что казалось, будто глубоко в земле задыхаются тысячи людей.

— Молись за меня, Андрей, пускай меня бог хранит, пускай направит меня на лучшее: я испеку тебя на огне, как свинью, ты будешь три дня собирать пепел от своего богатства...

Перед рассветом и он скатился в темную пропасть сна.

V

Больше Федор не ходил ночевать в хлев и не разговаривал с батраками. Спал в риге и старался не попадаться людям на глаза. После пасхи Мария вышла за кучера и уходила с ним на работу к другому барину. Федор вышел за ворота и попрощался.

— Марья, помни, я при людях хату Насте завещаю, чтоб ты не выгоняла ее, ведь она, бедная, одна-одинешенька...

И вернулся во двор. В хлеву, чтоб никто не видел, заплакал:

— Живи теперь с кем хочешь!

В этот день он напился и вошел в хлев:

— Эй, господские, теперь вы меня не выгоняйте: моя Марья ушла!

— Кто вас выгоняет? Ложитесь спать, раз дыму полную голову набрали.

— Верно, пьяному даже бог велит спать. Но ты говоришь — иди спать, а я тебя спрашиваю: где я буду спать? Если ты умная голова, то скажи: где я буду спать?

Он так близко придвинулся со своим вопросом к Процю, что коснулся его носа.

— Где упадете, там и будете спать.

— А если я в ясли лягу, га?

Он злобно засмеялся:

— Я в ясли, а ты меня за волосы, да в шею, да палкой — марш, старый пес!

Погонщики вылезли из яслей, чтоб полюбоваться зрелищем.

— Бей, гони из яслей, ведь ты тут гнил и сгни-
ешь. Ты не знаешь, что такое человек, ты вол, ты
хаты никогда не видел! Ты порядочного человека
из яслей гонишь палкой. А ты меня спроси: а
где ты, добрый человек, раньше был? А я тебе
отвечу: был я среди людей, хорошо мне было. Но
ты спросишь: а почему люди прогнали тебя? Вот
здесь заковыка! Я тебе на это ничего не скажу,
только три слова: нет в людях бога. А ты, голова
разумная, ты уже все знаешь...

— Идите, старина, спать, не загибайте пустяков.
Завтра пойдем в селс на выборы и богачей не-
множко помнем.

— Я на выборы пойду и людям всю обиду вы-
скажу, но я в ясли не лягу, не хочу там гнить. Я
дело знаю лучше, чем ты, я больше видел, чем
твой барин, но подожди, я тебе скажу все, как на
следствии. Я был кабацким подметалой, я валялся
под кабацкими скамьями, я валялся во всех тюрь-
мах. Пускай бог записывает грехи, я не боюсь, я
за все отвечу, я так отрублю, как вот тебе.
А кто меня уму-разуму учил, а? Меня били всем,
что под руку попадалось! Не бойся, я все выска-
жу, я распутая узел до конца. Дал бог такой про-
стор моей голове, что я опять вернулся к нашей
вере. Как увидел я на поле его милость небесную,
когда рожь просится под серп, а земля стрекочет:
«Иди, Федор, бери с меня хлеб», — я среди дороги
бросил своего шинкаря и пошел к божьей работе.
И по сей день благодарю бога.

Он крестился, клал поклоны и целовал землю.

— Пришел я к нашим людям, как будто свет
опять открылся. Ух, как я работал! Женился, по-
ставил хату вот этими мозолями. Уж должно бы
мне стать лучше, но грех надо искупить, а бог
палкой не бьет. Умерла моя Катерина, ну, ничего,
его воля. Утешаюсь детьми, кормлю, хлопочу. Вы-
растил, а люди изувечили их. Пошла моя Настя

ни так, ни сак, пошла в наймички, а Мария вот побрела с этим поляком, горько ей будет. Но ничего, пускай меня бог накажет, если я взропщу. Кара должна быть!

Я остался босой! Иду к нему в такую непогоду: дай, говорю, денег, я ноги обую. А он мне говорит: иди куда-нибудь, нанимайся. Пришел я к вам, а вы мне: марш! А куда я теперь пойду? Карает бог, карают люди, караете вы, а я не в силах столько кары вынести!

— Идите, дедушка, в ясли, мы вас просим...

— Пускай будет кара, я ее принимаю, но по справедливости.

Он разорвал на себе рубаху, снял ее и швырнул на волов:

— Вот, глядите, какую шкуру богачи оставили на мне! Да чем тут жить? Что тут еще карать?

Он голый растянулся на земле. Батраки укрыли его всем, чем могли...

VI

Возле общественной канцелярии стояли две толпы. Одна оборванная, чужая в селе, равнодушная, другая — чистая, живая: батраки и хозяева. Из той и другой толпы выходят по вызову люди, идут в канцелярию и голосуют. Управляющий экономии охрип, называя каждому батраку имя барина, старшины и кабатчика. Жандармы сновали в толпе и усмехались, словно перед ними шла детская игра.

— Ну, ребята, выбрали! Депутатом будет наш барин! Садитесь пить водку, — сказал управляющий.

Хозяева закричали:

— Вот вшивые! Вот нищие! Вот скот господский!

— Эй, ребята, слышите, как богачи хрипят?!

— Пусть хрипят, а мы будем водку пить!
— Пейте огонь! Пейте кровь свою, злодеи!
— А мы водки хотим!
— Это господа такое право установили, чтоб голодранцы разбоем шли на село!

— Ты, грамотный, думаешь, я не был в читальне? И там бедный народ стоит у порога. За столом сидят поп, члены церковного совета, богачи, дьяк читает газеты, а вы киваете головами, как волы, будто понимаете что-нибудь. А ведь один к одному, такие дурни, хоть глаз выколи! У вас такая читальня, что богач в ней за столом, а батрак у порога. Так в церкви, так в канцелярии, — так везде. Как же мы можем стоять с вами заодно?

— Мужичья голова не для грамоты, а зад у него не для кресла!

Батраки захохотали.

— Тихо, вы, неумытые! Прежде вшей оберите, а потом учите хозяев!

— Эй, ты, Курочка, ты тоже за народ? Да ты скверней последнего нехристя! Чего горланишь! Не беспокойся, твое богатство полетит на ветер! Вспомни, как я работал у тебя, как от этой работы меня хвороба скрутила. А ты за неделю вынес мне хоть кусок хлеба или воды напиться?! И после этого ты за народ?! Я у тебя всю силу оставил, а ты меня босого выгнал зимой! Да ты хуже последнего нехристя, хоть ты и нашей веры. Но погоди, твои дети распорядятся твоим богатством так, что от него и следа не останется. Ты еретик, кальвинист!

Курочка ударил Федора по лицу так, что его залило кровью, и он упал.

— Ребята, намнем бока богачу!

Батраки схватили Курочку, за Курочку вступились хозяева, полилась кровь.

VII

Федор лежал в своей хате. Глаза его загорались от красных язычков, как угли. Язычки тысячами разбегались по телу, жгли его, как молнии, носились по жилам и опять возвращались в глаза. Он грыз кулаки и бился лбом о стену, чтоб вытрясти огонь из глаз.

Весь запылал, почувствовал, что из него вырывается пламя, хватался руками за глаза, — сплошной, страшный, нечеловеческий вопль! Язычки вылетали из тела и прилипали к стеклам окошка. Вскочил. Окошко краснело, как свежая рана, и заливало хату кровью.

— Все мое пускай сгорит! Все, что я оставил на его дворе!

Он подпрыгивал, плясал, заливался хохотом.

Окошко дрожало, тряслось, и в хатенку все больше и больше наплывало крови. Выбежал за порог.

Звезды падали на землю, лес окаменел, где-то из-под земли силились вырваться тонкие высокие голоса и замирали. Хаты оживали, содрогались и краснели в пламени.

— Я чужого не хочу, пусть только мое сгорит!

КЛЕНОВЫЕ ЛИСТЫ

I

Постель была застлана холстиной, у стола на передней и задней скамьях сидели кумовья, на краю печки рядком — дети. Они спустили рукава рубах и напоминали стайку отдыхающих и готовых вспорхнуть перепелок. Кумовья сидели, как вкопанные, шевелили только руками, доставая хлеб или рюмку, но усталые руки их рады были бы не двигаться и отдыхать на коленях. Без радости брали они хлеб или рюмку. На шестке мигал каганец, и огромные черные тени кумовьев падали на потолок. Там, на потолочине, они переломились и застыли.

У стола, согнувшись в поклоне, стоял Иван, хозяин хаты и отец крошечного, только что окрещенного ребенка.

— Будьте ласковы, кумовья, выпейте еще по одной. Хотя это и не водка, а дрянь, но с мужиком всегда так: все самое горькое на свете — ему, все самое тяжелое — тоже ему.

— Для этого мы и родились, — набожно ответили кумовья.

Когда рюмка обошла круг, Иван положил ее возле бутылки набок, — боялся, как бы она, такая маленькая, не свалилась на пол.

— А закусите... Глядите, какие хлопоты свалились на меня в жнитво, в самую горячую пору. Я, ей-богу, не знаю, что делать? Оставить жнитво и ухаживать за женой да варить детям еду или оставить их на господнюю волю и самому косить голодному? Ведь в такую пору никто не придет помочь даже за большие деньги. На тебе, Иван, ребенка и радуйся, что их у тебя мало!

— Не сетуйте, кум, и не гневите бога, это его воля, а не ваша. А дети... — пена на воде. Какая-нибудь хворь нападет на них, и понесете всех в могилу.

— На моих не нападет, а вот там, где один ребенок, там нападет. Нищий не должен касаться жены или глядеть в ту сторону, где жена, — вот самое лучшее его дело. Тогда и бог не даст...

— Пустяки вы, кум, говорите, так никогда не будет, люди должны плодиться.

— Если б люди, а то нищие плодятся. Я о чем говорю? Раз ты нищий, не плодись, как мышь, будь доволен, если имеешь на плечах рубаху, кусок хлеба и если тебя никто по роже не лупцует. Если ты это имеешь, чего тебе еще надо? А от жены отступись совсем.

— Кум Иван, дайте жене покой. В таком положении ей не следует слушать этого, такой разговор не даст ей здоровья. Поговорим в другое время.

— Прошу простить за такой разговор. Но вы думаете, я забочусь о ней или о себе? Ей-богу, нет. Пусть их всех сразу передушит да и меня за одно с ними! Ов-ва, подумаешь, какой рай потеряли бы мы на земле, какое богатство оставили бы!

Кумовья уже не отзывались, не перечили, — им ясно было, что Ивана не переспоришь, и они хотели, чтобы он поскорее выговорился и отпустил их спать. Иван стал посреди хаты, спустил рукава рубахи и начал корить детей:

— Почему вы не летите с моей головы? Я вам открою и окна, и двери, кш!

Дети юркнули от края печи, чтобы их не видно было.

— Вот саранча, им только давай хлеба, хлеба и хлеба! А откуда я возьму этого хлеба? Как намаешься на чужом поле да кто знает, в какой раз наклонишься, то с поясницы за пазуху огнем пышет. Каждый стебель тебе в сердце колет.

Это относилось к детям, затем он обратился к кумовьям:

— А вечером, чуть покажешься в хате, выжатый, как мочалка, они все в один голос — и жена и дети: «Нету хлеба!» И ты, бедный человек, не идешь спать, а берешь цеп и молотишь в потемках, чтоб на утро им было с чем идти на мельницу. Цеп так и свалит тебя на сноп, окоченеешь во сне до зари, даже росой покроешься. Только продерешь глаза, а эта роса тебя ест, — беде мало дня, она ночью найдет тебя и грызет. Промоешь глаза и ковыляешь в поле такой черный, что перед тобой солнце меркнет.

— Иван, не убивайтесь так, ведь не только вы, но и бог детям отец, а он старше вас.

— Я бога за грудь не хватаю, но зачем он пускает детей на свет так, будто голого в колючий герновник?! Пустит на землю, счастья не даст, манны с неба не пошлет, а потом весь век кричит: «Мужики злодеи, разбойники, душегубы!» Взопрется в церкви на амвон, жирный такой, что по нем муха не проползет, и дымит, и лается: «Вы, — говорит, — детям не внушаете страха божьего, вы их сами посылаете воровать». Эх, разве я могу позорить мужика так, как поп? Да будь возле моего ребенка и мамка, и нянька, и родительница, носи мне люди всего, как тебе носят, так и я, отче, знал бы, как детей учить. Но мои дети растут в бурьяне вместе с курами, а

если у меня случится что-нибудь, вот, как сейчас, то никто не знает, сыты ли мои дети. Или они крадут, или нищенствуют, или скот пасут, — разве я знаю? Я кошу ваши поля и не только о детях забываю, — о себе забываю! Вы хотите, чтоб я и ваши поля убирал и детей учил? А средства? Ведь так, люди? Вы же знаете, какая наша жизнь?..

— Знаем, кум, знаем. Как не знать, сами в ней бродим.

— Когда я гляжу на детей, я не о том думаю, чтоб они не баловались, чтоб они толковыми были. Я только поглядываю, хорошо ли они научились по земле ходить, чтоб спихнуть их в люди, — вот чего я жду. Я не жду, чтоб они вошли в силу, ума набрались и пожили со мной. Как только богач или барин пасть разинет, я гуда бросаю ребенка, лишь бы избавиться! Там он бегаёт за скотиной, ноги его — сплошная рана, роса ест их, стерня колет, а он прыгает и плачет. Ты помог бы ему, ты поцеловал бы его ноги, ведь ты его родил, совесть тебя мучит, но ты проходишь мимо, да еще прячешься от него, чтоб не видеть и не слышать его...

Иван стал красным и задышался:

— И растёт он в яслях хлева, под столом или под лавкой, ест зуботычины, умывается слезами. А подрастет, украдет что-нибудь, — ведь он никогда ничего хорошего не видел и хочет хоть краденым утешиться. Глядишь, идет к тебе жандарм, скует тебя, избьет, как скотину, — ты отец вора, ты в сговоре с ним. И станешь вором навеки! Но это еще не все, конец впереди. Пускай ваш сын, ваш ребенок — вор, сгнил бы в тюрьме, — вора не жалко! Пусть! Но они отнимут у него здоровье, отдадут его докторам лечить, а потом посылают письмо старосте, чтоб ты заплатил за лечение. Из хаты выгоняют, под плетень выбрасывают с барахлом! Идешь к старосте, руки ему

целуешь: «Староста, выручите из этой беды». — «Ты, — говорит староста, — бедный человек, может, я тебя и выручу, но какую выгоду я буду иметь от твоей выгоды?» Сгорбишь плечи, согнешься, как перочинный ножик, и скажешь: «Мес-яц вам даром буду работать». Так или не так, люди? Правду я говорю или брешу, как пес?

— Все так, ни одного слова неправды.

Иван ощущал тяжесть своих страшных слов и дрожал.

— Не говорите, люди, что я каркаю над головами своих детей, как ворон над мертвечиной! Не говорите, люди, нет! Я не каркаю, я правду говорю, моя тоска каркает, сердце каркает.

Глаза его зажглись, и в них проступила страшная любовь к детям. Он поискал их глазами:

— Может показаться, что я издеваюсь над своими детьми хуже, чем черный враг. А я, видите, только вперед заглянул своими глазами на день, на год, на два года... Я поглядел на своих детей, как они будут жить. Что они будут делать? И сказал о том, что увидел. Я будто сходил к ним в гости, и кровь моя застыла от их жизни, которую я увидел.

Помолчал с минуту и добавил:

— Если бы на дороге в Канаду не было морей, я забрал бы детей в мешок и пешком пошел бы с ними туда, чтоб далеко-далеко унести их от этого поруганья. Моря я обходил бы берегом...

Кумовья забыли было об отдыхе, да вдруг спохватились, торопливо встали и ушли.

II

Было утро.

Дети бедали на полу, обливали рубахи и стучали ложками. Подле них лежала мать, худая, желтая, и корчилась от боли. По черным нечесаным волосам ее стекали боль и страдание, губы

были сжаты и сдерживали крик. Дети с ложками во рту поглядывали на нее и вновь оборачивались к чашке.

— Семенок, ты уже наелся?

— Уже, — ответил шестилетний мальчик.

— Так возьми веник, побрызгай пол и подмети хату. Мама не может наклоняться, очень внутри болит. Не пыли крепко.

— Посторонитесь, мешаете мести.

Мать приподнялась и поползла к постели.

— Семенок, а теперь хорошенько умойся. И Катруся, и Мария пускай умоются. Да побегни зачерпни воды, но не упади в криницу, не наклоняйся очень...

— Семенок, побегни нарви огурцов в решето. Мама в горшке посолит их. Вижу, долго буду болеть, и нечего будет вам с хлебом есть. И хрену нарви, и вишневых листьев. Да не мни огуречины, рви огурцы у самой ботвы...

— Семенок, сыми с жерди рубашки, я зала таю их, а то вы ходите грязные, как вороны.

Семенок бегал, делал все, что велела мать, и время от времени подталкивал младших сестер и говорил, что девочки ничего не умеют делать, — только едят.

— Они еще маленькие, Семенок, вырастут, будут тебе рубахи стирать.

— Я наймусь в работники, мне там будут стирать. Я их не заставляю.

— Не радуйся, сынок, батрачеству, не раз будешь свои дни оплакивать.

— Отец вон вырос в батраках — и ничего.

— И ты вырастешь в батраках, кожа будет трескаться от этого роста. Но ты, Семенок, не болтай, а собирайся отцу обед нести. Он голодный, глаза проглядел, ожидая тебя.

— Я хочу отцову палку взять от собак отбиваться.

— А если потеряешь, будет отец нас обоих бить. Да не иди простоволосый, надень хоть отцову шапку.

— Его шапка мне на глаза налезает, дороги не видно.

— Вымой посуду и наливай борща.

— Вы меня не учите, я сам знаю.

— Семенок, да смотри, чтоб тебя собаки не кусали.

III

Семенок шлепал по толстому слою пыли и оставлял за собой маленькие, похожие на белые цветы, следы.

— Фить, пока дойду, солнце здорово пропечет меня. Но я сделаю волосы так, как у солдата, тогда мне будет удобней идти.

Поставил на дорогу обед и начал сдвигать волосы под шапку так, чтобы быть похожим на стриженного солдата.

Глаза его смеялись. Он подпрыгнул, пошел дальше, но волосы из-под широкой шапки сдвинулись на затылок.

— Это скверная шапка... Но, погоди, я наймусь в работники, тогда куплю себе хорошую шапочку...

Облизал губы, прошел еще немного и опять поставил обед на землю:

— Я нарисую себе большое колесо со спицами...

Сел посреди дороги в пыль и водил вокруг себя палкой, затем стал рисовать спицы, затем вскочил, перепрыгнул через обод нарисованного колеса и обрадованно побежал.

У каждых ворот замедлял шаги, заглядывал во дворы, нет ли там собак, и поспешно пробегал дальше.

С одного двора выбежала собака и пустилась за ним. Семенок испугался, закричал и сел с обедом в пыль. Палка упала на дорогу. Он съе-

жился и долго ждал, когда собака начнет кусать его. Потом отважился поднять голову и увидел над собой морду черной собаки, — та спокойно стояла возле него...

— На, на, Цыган, на каши, только не кусай, больно будет, твой хозяин штраф заплатит. Он тебе ноги перебьет за этот штраф...

Щипал под платком кашу, кидал ее и смеялся над тем, как собака на лету ловит кусочки. Собака держала пасть разинутой, и Семенок тоже раскрыл рот.

Какая-то женщина шлепнула его по шее.

— Ты чей, озорник, такой, что на дороге собак кормишь? А в поле что понесешь?

— Вот еще, собака хотела разорвать, а меня еще бьют..

— А ты чей?

— Я Ивана Петрова, но мама родила и больна, а я должен нести обед, а меня собаки кусают и вы еще бьете...

— Ох, как я тебя била. Куда несешь обед?

— Отцу в поле, около пруда.

— Иди со мной, горюшко, я тоже туда несусь.

Пошли вместе.

— А кто обед варил?

— Мама варила, я еще не умею, а Мария и Катерина меньше меня.

— Значит, не больна мама?

— Как не больна, по земле катается и стонет так, что ох! Я за нее работаю.

— Ну, уж ты работник!

— Вы не знаете, вот и говорите так. Вы лучше маму спросите, какой я умный. Я весь «Отче наш» знаю.

Женщина засмеялась. И Семенок, передернув плечами, умолк.

Сзади бежала собака, он делал вид, будто кидает ей каши, и манил за собой.

Прошло три дня.

Посреди хаты сидит Семенок с сестрами, рядом корыто с новорожденным. Перед ними миска с накрошенными зелеными огурцами и хлебом. На постели лежит мать, вокруг нее зеленые ветки вербы, а над нею гудит рой мух.

— Наедитесь и сидите тихо, а я понесу ребенка к Василихе, она его занимать будет. Отец говорил, чтоб я утром, в полдень и под вечер относил, а вечером он сам зайдет за ним.

— Семенок, не ушиби ребенка.

— А я думал, вы спите. Отец приказал давать вам холодной воды и булку, а Мария схватила ту булку и раз откусила от нее, но я отнял и отколотил ее. Будете есть?

— Не хочу.

— Отец сделал из воску свечку и сказал, если вы будете умирать, дать ее вам в руки и зажечь. А разве я знаю, когда давать?..

Мать поглядела на него большими блестящими глазами. Бездна тоски, печали и бессильный страх сошлись вместе в ее глазах и родили две белых слезы. Они выкатились на ресницы и застыли.

— Отец утром на дворе тоже плакал и головою о дверь бился. Заплаканный взял косу и пошел.

Он поднял ребенка и вышел.

— Семенок, не давай мачехе бить Катрυσю, Марийку и Василька. Слышишь? Мачеха будет вас бить, от еды отгонять и чистых рубашек не давать.

— Я не дам и отцу буду говорить...

— Не поможет ничто, сыночек мой миленький, дитятко мое золотое! Когда вырастешь, делай так, чтобы вы любили друг друга крепко-крепко, чтоб ты помогал им и не давал их в обиду.

— Когда я буду батрачить и буду здоровым, не дам обижать и буду каждое воскресенье приходить к ним.

— Семенок, проси отца, чтоб любил вас... Мать, мол, наказывала...

— Ешьте булку...

— Пой маленькому, пускай не плачет...

Семенок качал ребенка, но петь не умел. Мать вытерла ладонью сухие губы и запела.

В слабый, надорванный голос выливалась ее душа, нежно никла к детям и целовала их в головки. Слова песни, тихие, неясные, говорили о том, что кленовые листочки разлетелись по голому полю, и никто не сможет собрать их, и никогда не зазеленеют они. Песня стремилась вырваться из хаты и лететь в пустое поле за листочками...

ПОХОРОНЫ

Впереди — оборванный мальчик с беленьким воротником. Он держит черный крест, и все глядят на него. За ним точно такие же мальчики вчетвером несут гроб. На крышке белый тоненький крестик, а самый гроб синий. В изголовье гроба прибит веночек из желто-грязных цветов, из тех, что растут в городских дворах среди камней. Веночек похож на калачик, какой подаст бедный мужик в церкви за помин души.

За гробом илетется несколько женщин. Какая из них молодая, какая старая, по лицам определить нельзя. В руках держат маленькие погасшие свечи. Подмышками несут полуувядшие цветы в горшках с землей, те печальные цветы, которые никогда не видели вдосталь солнца — с одной стороны они грязно-зеленые, а с другой бледно-желтые.

Под ногами мокрые камни, в воздухе неподвижный мокрый туман.

Одна женщина плачет, другая говорит ей:

— Когда был здоровым, целые дни играл возле моей будки. Копался один в канавке, что дождем промыта, и выбирал разные камушки. Цыпленок без насадки, право, говорю вам, как цыпленок. Я не вру вам, а правду говорю, что каждый день выбирала черствую булку и звала его к будке. Он садился возле меня и ел. Как он красиво ел!

Ручки такие маленькие, он щипал ими малюсенькие кусочки и — в ротик, в ротик. Пускай бог зачтет мне эти булки.

Женщина продолжает плакать.

— Осень доконала его, сырой воздух и холод. Вас целые дни нет дома, а его мучило без вас и замучило. Я заходила к нему и приносила свежие булки, но он уже не ел. То и дело водички ему хотелось. Лежал, как рыбка, и все ротик раскрывал. Потом посинел весь, и пыхало от него пламенем! Будто под ним огонь развел кто, а его косточки, как поленца, кинул, чтоб горели...

Идут, измученные все, вялые, и крестом презают серый туман.

— Но он умер, должно быть, от дивана, на котором лежал. Откуда вы такой диван достали? Ей-богу, он такой, как могила из порванных мешков. На таком диване и здоровый может умереть. Я боялась бы этого дивана, если б одна осталась с ним. Убежала бы или изрубила... нет, я не держала бы его в доме...

— Это диван его отца. Он на нем родился. Это — наследство. Когда перебрался от нас, нам оставил его.

— А где же он теперь?

— Не знаю...

Маленькое шествие сворачивает на соседнюю улицу. Черный крест усеяли серые капельки тумана. Мальчики продрогли, женщины еле плетутся.

Идут серединой улицы, как рваные тени, чужие и незнакомые ни с кем.

Скоро кладбище, но его не видно сквозь серый туман...

СОН

Он спал крепко.

Лес шумел, стонал; невнятные шопоты срывались с веток и падали вместе с инеем. Падали, как маленькие звоночки.

Ветер выл, словно выгнанный пес.

Небо чистое, неподвижное, а месяц такой ясный, как на рождество.

Работник спал крепко. Головою упирался в ворох заработанной кукурузы — третья часть его, — а ногами касался двух господских ворохов. Черные волосы поседели от инея, рыжая свитка побелела, крепкие руки не чувствовали холода, а опаленное ветром лицо побагровело.

Говорил сквозь сон и с каждым словом выпускал изо рта сноп белого пара. Голос его с ветром шел к лесу и долго бродил там от дерева к дереву:

— Не трогай, это заработанное, ты у меня берешь, хорошего богача нашел...

Поднял кулак, но тот бессильно сполз на сухие стебли.

— Я могу работать, у меня крепкие, как конское копыто, руки. Трахну раз — и дух вон...

— Целуй землю, по которой ступаешь: твоя ли она или чужая, — ты ею живешь, своя родит и чужая родит... Верю я говорю, ой, верно. Земля

все тебе даст, если она твоя. Она тебя и согреет, и оденет, и накормит, и твою честь сбережет.

Закашлял, словно в большую трубу затрубил.

— Если не имеешь своего поля, то тебе некуда и не по чем идти. Нет, нет, э, нет...

Положил под голову кулак.

— Я долго горевал на чужих полях, но бог помог мне; дай, боже, так каждому. Взял и дал. На тебе, говорит, кусок земли, но не выпускай ее, держи. Зубами держись за нее, люби, как свою жену, которая сроднилась с тобою...

Шапка сползла с головы и, подталкиваемая ветром, покатилась.

— Панаска, слушай, сними шапку. Ты ведь впервые вышел на свое поле в эту весну. Сними, помолись, так надо. Если бог даст, будет пшеница. Калачей напечем и дадим тем, кому не из чего печь. Дадим, дадим, как нам бог дает, и мы дадим, дадим.

Лег крестом.

— Меже тоже хочется родить колос, межа тоже земля, она еще лучше. Я тебе после смерти оставляю... Гляди, как скатерть, ровная, только черная. Я тебе накрою в поле этой скатертью стол, и ты будешь есть и молить бога, что имел такого отца...

— Весна хорошая, гляди, лаши себе, не делай огрехов. Волон напой и возвращайся домой до солнца, потому за скотину больший грех, чем...

Проснулся и спросонья услышал свое последнее слово. Глянул на небо, обернулся к шапке, погладил ладонью голую грудь и перекрестился.

— С осени и такая стужа? Еще снегом занесет здесь. Зима, а мне такая хорошая весна приснилась... Гей, Яков! Чисть кукурузу, разве можно так долго спать?!

БАСАРАБЫ

I

Хома Басараб вздумал повеситься в полдень в хлеву. Но его жена подняла крик, соседи бросили на токах цепи, соседки выбежали из хат и кинулись к Хоме во двор. Отчаянный Антон, тот, что за шистку выдергивал зубы, забрался в хлев и — бог знает, как это удалось ему, — вынул Хому из петли живым. Тем временем двор уже заполнили взрослые и дети — и все с превеликим страхом глядели на хлев.

— Да чего вы стоите, будто на свадьбу пришли?! Помогите мне внести его в хату! Вот глупый народ! Думаешь, он укусит тебя?!

Хому внесли в хату, толпа вышла за ворота и начала судить да рядить:

— Опять Басарабы начинают вешаться, нет у них порядка в голове.

— Только три года прошло, как у них захлестнулся Лесь. Господи, какая после этого буря поднялась! С моей хаты полкрыши сорвало.

— У Басарабов неладно что-то, раз губят себя один за другим.

— Я помню, как повесился Микола Басараб, потом — Иван Басараб, а потом, и года не прошло, повис на маленькой вишенке Василь. Весь цвет

отряс, все волосы были у него в белом цвету. Это уже три, а я еще считаюсь молодым человеком... может, есть, а может, и нет тридцати пяти годов...

— Ты это помнишь, а я помню, как на перекладине повис их прадед. Богач был большой, деньги на дерюге сушил и пешком никогда не ходил. Плеть всегда носил с собою, и был у него такой черный конь, что ворота перепрыгивал. Говорили, он людей на барщину гонял и той плетью рвал на них тело. И вдруг пошел утром слух, что этот старый атаман висит на перекладине. Я еще маленьким был, но как сейчас вижу тьму-тьмущую людей на его дворе. Когда его сняли и внесли в хату, он был такой страшный, что бабы со страху плакали. А мужики говорили: «Вот, больше не будешь шкуру кусками снимать с нас, чорт посадил тебя на перекладину». Потом, через день или через два, такая поднялась буря, такие ветра подули, что деревья с корнем вырывало, а с хат снимало крыши...

— Еще теперь на старом кладбище люди показывают могилы Басарабов. Их хоронили не на кладбище, а за канавой. Есть такие могилы и за новым, и за старым кладбищем, — и все это Басарабы похоронены.

— А вы думаете, поп имеет право хоронить такого на кладбище? Пусть все состояние отдаст, — нельзя. Разве можно такого проклятого класть среди людей?!

— Ну, теперь Басарабы опустят головы и все будут ходить хмурыми, невеселыми.

— Как бы этот не потянул за собою других: ведь на них на всех находит это. Один погубит себя, глядишь — десятеро других приготовилось. Они все вместе связаны, беда на одной веревке водит их.

— До седьмого колена будет душить их, а когда пройдет седьмое колено, перестанет. Должно быть,

один из них здорово провинился перед богом. Это кара, люди, до седьмого поколения. Большой кары бог не знает на земле...

— По ним видно, что их бог карает. Богатство дает им, ум дает, а потом все отбирает и подсаживает на перекладину.

— Надо только поглядеть им в глаза. Это не глаза, а черные раны во лбу, они живут и гниют. У одного такие глаза, как пропасть, — глядит и ничего не видит, потому что такие глаза не для того даны, чтоб видеть. У другого глаза живут, а вокруг них камень... лоб — камень, лицо — камень, — все каменное. А этот Хома, разве он глядел на человека как следует? Глаза будто на тебя направлены, а сами смотрят куда-то в себя, в глупину...

— Смотрят его глаза на тот давний грех, за который им кара идет. Грех у них в середине, чтоб они глядели на него, чтоб им покоя не было, чтоб они чувляли наказание...

— Эти Басарабы на локаянные людям рождаются: богатеют и душу губят...

— Тяжкий грех у них в роду, и должны они искупить его, погибнуть, но искупить.

— Грех, люди, даром не пройдет, его надо искупить! Он перейдет на ребенка, на скотину, он подожжет стога, градом упадет на зеленый хлеб, он возьмет у человека душу и отдаст ее на вечные муки...

Бабы слушали и чуть не крестились, дети сидели молча; мужики говорили о грехах долго, а затем поплелись в кабак.

II

Все Басарабы сошлись к Семенихе — самой старой и самой богатой в роду Басарабов. Хому тоже привели туда. Семениха наготовила еды и питья,

усадила родичей вокруг большого стола, а Хоме отвела самое лучшее место.

— Федоска, не плачь, будет тебе, садись, утешимся тем, что мы все вместе. Садись, род мой, и пусть с тобою садится за стол все счастье. Если б жив был Семен, он знал бы, как просить и угощать вас. Микола, вы помните, как он бутылку с водкой разбил о вашу голову, а пироги выбросил собакам, потому что вы не хотели с ним пить?

— О, с дедом, бабушка, нельзя было шутить: или пропадай или пей!

— Я за тебя, Хома, выпью, ты мне милее всех. Пускай напьюсь! Старухе немного надо, чтоб она запела девичью песню... Эх, Хома, Хома, если б я в твоих тодах была! Эй, пей, не опускай глаз под стол. Кабы ты не опускал глаз, а поднимал их кверху, твоей душе было бы легче. Пей за здоровье дядьки Миколы.

Она стояла перед столом, высокая, седая и прямая. Глаза у нее были большие, серые, умные. Глядела так, будто ей на свете все уголки известны и в любом из них она, засучив длинные белые рукава, сделает все, что полагается порядочной хозяйке, — приберет, украсит, наведет порядок.

— Бабушка, у вас приятно пить и есть даже тогда, когда вы молчите: ваши глаза угощают.

— Верно, у меня глаза для того, чтоб смеялись, чтоб играли. Я не плачу, и мама намалевала их мне не для того, чтоб они плакали. Если б вы прогнали из своих глаз этот черный туман, что закрывает вам свет! В моих глазах мои дети, мое поле, моя скотина и мои риги, — так чего же им застилаться тоской? Если придет тоска, я поплачу, утрусь — и все.

— Не у каждого такая легкая натура, бабушка. Есть такая натура, что хоть медом корми ее, хоть в самую веселую весну выпусти ее на зеленое поле, она все плачет...

— Эй, Басарабы, Басарабы! У вас нет детей? У вас нет ни поля, ни скотины! У вас есть только печаль, бельма на глазах и долгая черная чуприна, что закрывает от вас солнце. А бог наказывает вас за то, что вы не умеете на его солнце глядеть, не умеете детям радоваться и зеленым колосом в поле утешаться. Хома, не гневайся на старуху. Старуха носила тебя крестить, старуха плакала, когда тебя в солдаты провожала, старуха на твоей свадьбе всеми косточками звенела. Старуха вам не враг. За то, что ты хотел душу сгубить, за это я гневаюсь на тебя. Но вы прежде съешьте то, что я вам наготовила, я даром не люблю работать, а потом поговорим. Род мой честной и величавый! Радуюсь, как не знаю чему, что ты не забываешь меня, что ты любишь меня и за моим столом пьешь и говоришь хорошие слова!

По лицам гостей промигнул свет счастья, как порою лучи солнца мигают в глубине черного пруда. Все вскинули глаза и остановили их на старухе.

— Ой, Басарабы, смотрите, сколько глаз и во всех печаль да тоска...

— Бабушка, не говорите так, мы все утешены вашими словами, будто сладкое вино пьем. Мы вас, бабушка, брали бы по очереди в хаты, чтоб нам весело было.

— Да разве я, старая, гожусь ваши хаты веселить? А ваши жены где? Они не цветут? Они вам рубах не вышивают, вашим детям голов не моют? Вы не видите ничего, вы слепые! Бог вас наказал слепотою...

— Бабушка, мы встанем из-за стола и закурим трубки. Чего сидеть, раз желудок ничего уже не принимает?

— Вставайте и курите, а я сяду возле Хомы и буду спрашивать его, что за тяжесть придавила его душу...

Хома — человек маленький, сухой, с длинной черной чуприной, которая спадала мягкими гладкими прядями на широкий лоб. Темнокарие глаза бродили подо лбом, как по бескрайней равнине, и не могли найти дороги. Лицо смуглое, испуганное, как будто детское. Он встал из-за стола и сел возле Семенихи.

— Расскажи нам, Хома, чего тебе так тяжело жить на свете, почему ты хочешь покинуть своих детей, свою жену и свой род? Не стыдись, выскажи все, что тебя точит. Может быть, мы что-нибудь посоветуем тебе или поможем чем.

Все обернулись к Хоме:

— Говори, говори, ничего не таи, тебе легче станет.

— Нечего таить, — отозвался Хома, — я таил пока мог, а теперь вы все знаете.

— Ничего мы не знаем, ты говори, а если не скажешь, мы будем думать, что жена у тебя злая, или дети уродились плохими, или мы тебя довели. И оглядывайся на нас. Ведь ты знаешь, если один в нашем роду погибнет, он и другого за собою тянет. Может, среди нас уже есть такой, что как услышал про твою беду, так и сам уже готов погибнуть, — сказал седой Лесь.

Басарабы виновато опустили глаза.

— Федоска, тише, не плачь, не плачь...

— Я не знаю, откуда и как, но приходят такие мысли, что нет покоя. Ты свое, а они свое, ты продираешь глаза, чтоб прогнать их, а они, как собаки, скулят возле головы. От хорошего никто веревки не набросит на себя!

— А почему ты, когда у тебя начинается в голове этот заворот, не скажешь жене или не пойдешь в церковь?

— Не поможет, бабушка. Мысли окружают и ни

на шаг не пускают от того места, где они решили привязать тебя. Если б вы знали, если б вы знали! Они меня вяжут, и нет на свете цепей, которые глубже, чем они, вливались бы в грудь. Я слышу, как они звенят вокруг меня: дзورك-дзورك, дзинь-дзинь. Как начнут звенеть, голова трескается на части, а уши раскрываются, как рот, и так жадно слушают это бренчанье. Ночью я перевернусь, закрою одно ухо, другое раскроется... И что-то о череп трет, трет. Я накрою голову подушкой, а оно по подушке теми цепями бьет и как будто говорит, как будто лопатой легонько слова в уши ссыпает: «Ну, иди, ну, иди же, со мною тебе лучше будет». Я ухвачусь за постель и так держусь за нее, что руки трещат...

— Да что ты говоришь? И что ты выдумываешь?! — крикнула Хоме жена.

— Ты не бойся, жена, теперь они от меня отошли, мне теперь так легко, будто я вновь родился. Но я хочу рассказать вам, какую муку терпит тот, кто губит себя. Такой человек заслуживает вечного спасения. Еще при жизни нечистое душу из него выкапывает, рвет тело, ломает кости, чтоб к душе пробраться и вытянуть ее. Какая это мука, какой это страх, какая боль, — за такие страдания дал бы ногу или руку отрубить.

— А как оно сторожит тебя по ночам, где оно тебя ловит?

— Заранее чуешь, когда оно придет, а оно не спрашивает ни дня, ни ночи, ни солнца, ни туч. Вот подниметесь вы утром, помолитесь богу и идете во двор. Станете у порога и оцепенеете. Солнышко светит, люди говорят возле хат, а вы стоите. Чего стоите? Стоите оттого, что вас по голове ударило, ударило сбоку, легонько так. Из головы оно идет к горлу, а из горла в глаза, в лоб. И вы уже знаете, что откуда-то из-за гор, из-за чистого неба, из-за солнца приплывает чер-

ная туча. Вы не можете сказать, почему вы знаете, что она приплывет, но вы за три дня ждете ее шума, ждете, когда она загремит под небом, и пускаете за нею весь свой рассудок. Рассудок бежит от вас, он оставляет вас, как пастух овец. И страх охватывает такой, что вы боитесь слово сказать. Сцепит вам зубы — и вы ждете.

— Я знаю, Хома, я понимаю, это бывает в аккурат так, — сказал Микола Басараб.

— Микола, ты с ума сошел, или на тебя накатило что-то?!

— Нет, я только так...

Басарабы недоверчиво поглядели на Миколу и примолкли.

— Люди, да вы не пугайтесь того, о чем Хома говорит. Он вам расскажет, вы и будете знать, как оно к христианину цепляется. Ваш прапрадед где-то воевал с турками, убил семь душ маленьких детей и, как цыплят, нанизал их на копье. За это бог наказал его: он перестал воевать и тринадцать лет ходил с теми детьми. Не с детьми ходил, они погнили, а он носил то копье, и ему все казалось, что он носит на нем убитых детей. Отсюда и пошла кара на Басарабов. Когда я выходила замуж, мать рассказала мне об этом и не советовала идти за Семена. Вы искупляете грех за тех детей, но стыд за него нет-нет да и просыпается в вас. Не каждый Басараб носит этот грех, бог кладет его на совесть только какому-нибудь одному. Так что вы не пугайтесь, а слова Хома запомните: вот что этот грех делает, пока он не искуплен. Тело все переносит, на теле ничего не видно, а совесть точит. Это бывает даже с таким большим деревом, которое тучи закрывает: расколешь его, а там сплошная червоточина, червя не видно, а оно изъедено. Вот так и совесть точит из рода в род...

— Когда совесть точит, это самое горькое наказание.

— Ну, рассказывай, Хома, как оно тебя точит? Помочь нельзя, а выслушать надо.

— Оно точит и не говорит, за что. Если бы я убил или поджег, но оно видит, что я ни в чем не виноват, а точит, наказывает. Когда эта туча загремит в небе, тогда приходит час кончать с собою. Течет вода и тянет вас, целует, по лбу гладит, а лоб как огонь, как огонь... Вы в ту воду, как в небо, прыгнули бы, но в голове где-то всплывает слово «Убегай, убегай, убегай». И, как сто коней, гонит вас от воды, отнимает у груди дыхание, голова разлетается и глупеет. Даже теперь, когда вспоминаешь, глупеет. Или глянете на ветлу, и опять вы в плену. Руки оживают, прямо скачут и без вашей воли хватаются за ветки, пробуют, крепкие ли они, а вы будто стоите в стороне, будто ничего не делаете, руки сами будто все делают. И опять всплывает слово: «Убегай, убегай!» Руки осыпает огнем, они падают, как высушенные, и вы опять убегаете. Если кто-нибудь попадется на глаза — жена, ребенок, оно тоже кричит: «Убегай!» Оно и говорит, и смеется, но так, будто не я говорю, и все толкает туда, где нет людей. Доходит до того, что вам мерещится груша, которую вы видели еще в детстве. Какой-нибудь колышек в стене, крюк, перекладина, — все вам вспоминается. И гонит оно человека в тысячу сторон сразу, а куда идти, не знаешь. А потом оставит, сразу оставит. Пройдет час, или два, или день, и оно вновь приходит. Сердце стынет, глаза так плачут, так плачут, слезами вытекают. Но и слез не видно и плача не слышно. И опять завладевает вами и опять начнет мучить. Я не раз выпивал по бутылке водки, глотал стрючки перца, чтоб унять это, — ничего не помогало...

А вчера меня так придавило, что я потерял и разум, и глаза, и руки. Пришло оно в полдень. Пришло и указало на перекладину в хлеву. Все

трещинки показало на ней, все сучочки. Мне некуда было деться, я не сопротивлялся, отвязал веревку от яслей и полез в хлев. И так хорошо было мне, так легко! Я привязал веревку, попробовал, крепко ли держится, и знал, как надо петлю делать, как подтянуть... Сегодня я сам удивляюсь, что погибал так спокойно и легко. Но теперь, благодарение богу, это отошло от меня, и я рад, так рад...

Басарабы будто в дубовый сон впали.

— Грехи, люди, грехи, надо бога просить.

— Доктора говорят, что есть какая-то нерва, что она болеет, как человек. Сидит она где-то в человеке, и когда заболит, то отнимает у него разум...

— Э-э, что доктора знают!..

IV

— Эй, выйдите за Миколой! Куда он пошел? — затревожилась Семениха.

Басарабы вздрогнули, но ни один не шевельнулся, — окаменели.

— Да выйдите за Миколой, говорю вам! Куда он пошел?

Женщины заплакали. Басарабы вскочили и толпой пошли наружу.

— Тихо, тихо, может быть, зря мы... не делайте шума...

ОЗИМЬ

По селу растекается, плывет тонкими струями, разлетается на брызги один голос — осенний сельский звук. Он обнимает и село, и поле, и небо, и солнце, — протяжная, грустная песня переливается на вспаханных полях, шелестит сухими травами меж, вьется в черных плетнях и вместе с листвою падает на землю. Все село поет, белые хаты несмело улыбаются, окна пьют солнце.

На одном из огородов зеленеет заплата озимой ржи. А возле нее на тулупе лежит белый, как молоко, мужик. Очень старый, с померкнувшими глазами. Рядом с тулупом его палочка, тоже очень древняя, — ее дужка вся вылощена ладонью. Солнце греет его так, будто, кроме него, ему на земле больше некого греть.

Старик заслушался осенней песни и сам мурлычет, словно ребенок. Он говорит, а орех-дерево то и дело бросает на него широкие листья. Белые мотыльки играют над ним, — им хочется сесть на белые дедовы волосы. Он поет, бормочет, а соседские петухи слушают и подтягивают ему.

Он бранится со своей смертью.

— Тебя мне не нужно, — пищит он солнцу, — не улыбайся мне. Мне нужна яма и четыре доски... Зря пропадает твоя работа. Ты найди себе молодого, а мне пошли смерть. Она, собака, забыла деда.

Хорош косарь, нечего сказать. Колос поспел, склонился, землю целует, почернел уже, а косарь ждет. И чего? Думаешь, пойду еще танцевать? Я свое отбыл, я доволен, мне больше ничего не надо. Возьми себе пушинку духа, какая осталась во мне, и отпусти из-за стола, я — сыт...

А может, война где-нибудь идет, и смерть там бегаёт? Там гибнет такое молодое, что только целуй, а возле меня что она найдет? Пустую коробку. Ты не толкайся среди молодых, ты бери то, что тебе в рот смотрит. Молодой пусть хозяйничает, детей до ума доводит, — он от тебя не убежит. Хотя он и на войне, ты его не трогай. Сгребай в яму то, что надо туда сгребать.

Вот руки... — Он поднес близко к глазам руки. — Ну, с чем тут жить? Такие старые ошметки, что ими прошлогоднего постела не залатаешь. Что ты этой рукой можешь сделать? Подожди, не дрожи, раз я говорю. А тело где? Я его съел, что ли? Я его не обгрызал. А если мое тело съела, то пусть и кости берет. Доедай, или не надо было начинать...

Если у меня есть руки, то я иду своей дорогой, и моя дорога сотней тропинок разбегается по полю. Я картошки накопаю, я кукурузы насобираю, я зернышко посею, — я все руками сделаю. А без рук я дурень, если хочешь знать. Это не штука сделать из человека нивесть что и гулять потом сломя голову! Нет, ты бери меня на плечи и положи на место, где мне надо лежать...

На поле появляются куры и клюют зеленя.

— А, кш... Изрублю на капусту! Ты не гляди, что я старый, такого зверя я еще одолею, еще одолею. Или вам нечего во дворе есть?

Старик встает, опирается на палку и идет на озимь.

— Хорошее, зеленое, а вы гадите его. Земля

всегда молодая. Она как девка: праздник — она нарядится по-праздничному, рабочий день — она наряжена по-будничному и всегда девует, всегда, от начала мира и солнца.

Приседает среди зеленой озими, опирается на палку и молчит. А вокруг грустно поет село, вербы кидают в него сухими листьями...

В О Р

Посреди хаты стояли два крепких, здоровых мужика. Рубахи на них были порваны, лица окровавлены.

— Ты, человек, не думай, что я тебя из рук выпущу...

Оба сопели, были измучены и шумно захватывали ртами воздух. У постели стояла испуганная и заспанная молодая баба.

— Не стой, иди за Михайлом и Максимом, скажи, чтоб скорее шли, я вора держу в руках.

Хозяйка вышла, и они остались вдвоем.

— Этот, попадись ему, отнял бы у слабого жизнь возле собственной хаты.

Хозяин подошел к скамье, взял кружку с водой и так вкусно пил, что слышно было бульканье в горле. Потом вытер рукавом лицо и, глядя на вора, сказал:

— Не надо идти к цырюльнику, этот крови пустил доста...

Не успел договорить: вор ударил его кулаком между глаз.

— Ты бьешь, и я буду, — а ну, кто лучше?

Схватил буквое толстое полено, размахнулся, и вор упал на пол. Из его ног брызнула кровь.

— Убегай теперь, если можешь, я ничего не скажу.

Долго молчали. Тусклый свет каганца не пробивался в темноту углов, мухи робко гудели.

— Да останови себе, человеке, кровь, а то вся вытечет.

— Дай мне воды, хозяин.

— Дам тебе воды, крепись. Ведь не знаешь, что тебя ждет.

Долгое молчание.

— Ты, вижу, крепкий, хозяин.

— Я крепкий, бедняга, я коня плечом поднимаю, и ты неладно набрел на меня.

— А характер у тебя мягкий?

— Мягкий, но вора живого из рук не выпущу.

— Значит, мне здесь погибать?

— А разве я знаю, крепкий ты или мягкий? Если крепкий, то можешь выдержать...

И опять в хате наступила тишина.

— Останови себе кровь.

— Зачем? Чтоб сильнее болело, когда будешь бить? Кровь — это и есть боль.

— Если уж я буду бить, то должно болеть, пока дух не испутишь.

— А бога не боишься?

— А ты бога боялся, когда в амбар лез?

— Пропал, чего там говорить... Бей и дай мне покой.

— Да уж будь уверен, буду бить.

На полу образовалась лужа крови.

— Если ты, хозяин, имеешь совесть, сразу убей меня, возьми это полено и бахни по голове, как по ногам. Тебе меньше забот, а мне будет легче.

— Ты хочешь сразу? Полно, вот придут люди...

— Так ты хочешь добрым соседям бал устроить?

— Уже идут.

.....

— Славайсу.

— Навеки слава.

— У вас, Георгий, что-то случилось?

— Да, случилось, пожаловал вот гость, и надо его угощать.

— Что и говорить, надо.

Максим и Михайло заняли всю хату и головы-ми почти касались потолка.

— Садитесь и извиняйте, что испортил вам ночь.

— Это он на полу?

— Он.

— Мужик, как зверь. Вы вдосталь наработались, пока втащили его в хату?

— Здоровый, ой, здоровый, но на более здорового напал. Пока что садитесь за стол и гостя просите.

Георгий вышел и через минуту принес бутылку водки, сало и хлеб.

— Чего же вы его не просите к столу?

— Говорит, не может встать.

— Ну, я помогу...

Хозяин взял вора подмышки и посадил за стол.

— Вы, Георгий, уже в хате имели ссору с ним?

— Да, он хотел меня оглушить. Как огрел кулаком между глаз, то, говорю вам, я чуть-чуть не упал. Но я нащупал поленце, хлестнул его по ножкам, он и сел маком...

— Вы этому не удивляйтесь: каждый хочет защищаться.

— Да ведь я ничего и не говорю...

Вор был бледен и сидел за столом равнодушно. Возле него — Максим, а дальше — Михайло. Около печки стояла хозяйка в полушубке.

— Георгий, что ты с ним хочешь делать? Люди, отрезвите его, он хочет человека убить...

— Жена, ты, я вижу, боишься, иди к матери, переночуй там, а завтра придешь.

— Не пойду я из хаты.

— Ну, будешь с нами водку пить, только не

плачь, а то бить буду. Лезь на печь и спи, или смотри, или как хочешь...

Она не тронулась с места.

— Баба и есть баба, Георгий, она бонится драки, не удивляйтесь.

— А-а, что на нее глядеть!.. Дай, боже, здоровья, дорогой гость, я за тебя пью! Не знаю, кто за кого будет иметь грех, — ты за меня или я за тебя? Но грех должен быть, так вышло, что без греха не обойтись. Эй, пей...

— Не хочу.

— Должен пить, раз угощаю. Водка даст тебе немного сил, ведь ты совсем ослаб.

— Я не хочу с вами напиваться.

Три хозяина обернулись к вору. Их упорные черные глаза предвещали ему гибель.

— Ну, давай, буду пить, но пять стопок кряду.

— Пей. У меня на всех хватит.

Наливал одну за одной и выпил шесть. За ним шли Михайло и Максим. Закусывали и вновь пили. Михайло:

— Скажи нам, человеке, откуда ты забрался в наше село, здешний или издалека?

— Я из Мира...

— А ты мужицкого роду или господского? Говори, будем знать, как с тобой поступить. Мужика надо бить так: раза три лушней по голове, несколько раз по лицу, чтоб упал: мужик — человек крепкий и браться за него надо крепко, а когда он под ногами, тогда с ним легкая работа. А с бариним делом делается по другой моде: ему лушни не показывай, а то сразу со страху умрет, его кнутовищем припусти, а как задрожит всем телом, ударь два раза по морде, но тоже не очень сильно... и барин уже под ногами. Походи по нем немного, минуту так, нудве — он и готов, — ребра поломаны, как хворост, потому кость у барина бенькая, как бумага...

Хозяева тупо и тяжело засмеялись, а Михайло спрятал за Максима голову и ждал, что скажет вор.

— Ну, к какой вере причисляешь себя?

— Выходит, хозяева, что раз вы пьете водку, то ни за что не выпустите меня живым.

— Правду говоришь, ей-богу, правду, за это я тебя люблю.

— Пока вы меня не убили, дайте еще водки: напьюсь, чтоб не знать, как и когда.

— Пей, раз такое дело, пей. Я не жалею, а то, что ты налетел на меня, это тебя бог покарал. Я, человеке, крепкий, я каменный, из моих рук тебя никто не вывет.

Вор выпил еще пять рюмок.

— Бейте, сколько хотите, я готов.

— Подожди, братику, ты готов, а мы еще нет, ты пил по пять, а мы по одной. Вот догоним, начнем разговор...

Михайло глядел весело, Максим о чем-то думал, но боялся высказать свои мысли, а Георгий был неспокоен.

— Вижу, люди, будет беда. Ушел бы я прочь, но что-то тянет меня к нему, цепями тянет. Эй, эй, пьем, закусываем...

— Хозяин, давайте я поцелую вас в руку, — сказал вор Максиму.

— Ой, человеке, ты очень боишься. О-о, это нехорошо.

— Ей-богу, я не боюсь, ей-богу, сто раз поклянуся, что не боюсь...

— Так что же с тобою?

— У меня теперь легко на душе стало, и я хочу этому хозяину руку поцеловать: он седой и мог бы быть моим отцом...

— Человеке, оставь меня, у меня совесть мягкая, я не хочу, оставь меня...

— Да дайте руку, ведь грех будете иметь, я хочу вас поцеловать, как родного отца.

— Я совсем мягкий, человеке, не целуй меня...

Михайло и Георгий даже рты раскрыли и перестали пить водку. Взъерошили волосы и не верили своим ушам.

— Туману напускает. Чего он хочет? Ты что, голубчик, таким манером пробуешь... Мы ученые, мы и это знаем...

Максим тарашил глаза и не понимал, что делается вокруг.

— Сообразил, что я мягкий, сразу угадал...

Говорил, чтоб оправдаться перед Михайлом и Георгием.

— Дайте, дайте, хозяин, руку, но от чистого сердца: если я вас поцелую, мне будет легче; я вижу, мне уже не ходить по земле, и я хочу попрощаться с вами.

— Да не целуй, а то я весь размякну, я тебе и так прощу...

— Но я вас очень прошу, я тяжело буду умирать, я еще никого в руку не целовал вот так, от всего сердца. Я не пьяный, ей-богу, нет, но я так хочу...

— Тише, человеке, не хлипай, не подходи изда- лека, а то как трахну — и ногами не дрыгнешь.

— Значит, вы думаете, что я притворяюсь, а я, ей-богу, правду говорю. Я, видите, как выпил, так в голове у меня такое сотворилось, что вот должен я перед смертью этого хозяина в руку поцеловать, чтоб мне бог грехов уменьшил. Дайте руку, хозяин. Скажите, пусть даст...

— Чего этот человек хочет от меня? Не знаю. Что мне делать, раз я жалостливый, я такой, что не могу этого выдержать...

Максим не находил места и не знал, что делать. Он стыдился, как девушка:

— У мягкого всегда так, он всегда посмешище для людей, — такая паскудная у него натура. Вы же знаете, что когда я выпью, то плачу, знаете

же... Не надо было звать меня, знаете же, что я — прядево...

Вор пытался взять Максимову руку и поцеловать ее.

— Этот вор хочет обойти нас фокусом. Идите, Максим, прочь от него, отступитесь...

— Давайте, Георгий, выпьем сразу по три рюмки, чтоб злее быть, — сказал Михайло.

— Не уходите, Максим, не уходите, дяденька, от меня, я сейчас умру. Я не боюсь, ей-богу, не боюсь, но меня такое беспокойство тря...

Вор стал дрожать всем телом, губы его прыгали. Михайло и Георгий пили водку и не глядели на него.

— Да чего ты боишься? Нечего. Я дам тебе руку поцеловать, уж дам, пускай и меня побьют, на уж, на, целуй, как тебе хочется...

Вор припал к руке, а Максим мигал веками так, будто его раз за разом били по лицу:

— Мягким никогда не следует быть, мягкий человек ни на что не способен...

Михайло растопырил пальцы и показал их Георгию:

— Человеке, пальцы у меня крепкие, к драке охочие; что схватят, с мясом рвут.

Георгий ничего не говорил, лишь плевал на ладони и наливал водку.

— Хватит уже, голубчик, хватит, пусти, я пойду, здесь нет бога, я на такое дело не могу глядеть, вынь руки из-за пазухи. Не гладь меня, пусти, мне так стыдно, что я не знаю, куда деваться...

— Я хочу еще икону поцеловать, порог еще хочу, я хочу всех, всех, где кто на свете есть!.. — кричал вор.

Хозяйка спрыгнула с печки и убежала из хаты. Михайло встал из-за стола, пьяный и темный, как ночь. Георгий стоял и раздумывал, с чего начинать.

— Максим, уходите из хаты, чтоб я вас не ви-

дел здесь, а то убью, как воробья. Эй, собирайтесь...

— Я пойду, Георгий, я вам ничего не говорю, но вы не сердитесь, вы же знаете, что я мягкий человек. Мне так кажется, что грех вы будете иметь, а я пойду, пойду...

— Идите, идите, вы не человек, а старая баба...

— Я и сам говорю, что я не гожусь, я...

Максим поднялся и вышел из-за стола:

— Будьте здоровы и не гневайтесь, потому что я, как говорится, не гожусь...

Вор остался за столом один, немного бледный, но веселый.

— А ты выйдешь из-за стола, или тебя надо выносить оттуда?

— Я не выйду, я вижу, что не выйду, я должен сидеть здесь, под иконами.

— Ой, выйдешь, ей-богу, выйдешь, мы будем просить...

И кинулись на него...

ЧУДНОЙ БАРИН

Барин такой маленький, в таком маленьком городе, — там много торговцев и только один господский трактир. Этот город стоит посреди деревень, как заплесневелое село, как вонючая падаль, как мусорная яма всего уезда. В торговые дни он оживает, веселеет, — приезжие мужики украшают его. На базаре стоит балаган, в нем играют какие-то страшные музыканты, страшные звери скалят зубы с его холстов, какая-то восковая барышня бьет в трескучие тарелки. А перед балаганом толпятся сельчане во всевозможных нарядах и смотрят. Взоры толпы приковывает деревянный шут — он выбегает из-за ширм и, размахивая руками, просит всех заходить в балаган. Смех, крик, слезы сквозь смех.

К шуту выходит деревянная девушка и обнимается с ним. Смеха на базаре столько, что уши закладывает, а чиновники в канцеляриях вскакивают с кресел. Весь смех пришел из сел на базар. Старые мужики тянут сыновей и молодых за покупками, но те не хотят уходить от веселого балагана. Лишь под вечер толпа расходится и освобождаст пустой, грязный рынок для игр городским детям.

Вот в этом городе и живет маленький барин. Он на пенсии, детей у него нет и жены нет. Он

уже седой, в серой шапке и серой одежде. Целыми днями сидит в трактире и молчит. Когда другие господа заговаривают с ним, он начинает тянуть из стакана пиво и как бы забывает отозваться. Самый важный посетитель трактира, пан старшина, и тот не может подступиться к нему. Барин весь день молчит и ждет мужиков. Если случайно кто-нибудь направит крестьянку в господский трактир купить вина, которое будто бы от сердца помогает, или крепкого черного сахару, от которого легчает в груди, она останавливается у двери и не решается войти. Тогда наш барин выбегает к ней и говорит:

— Почему не идете? Не бойтесь, входите и говорите, что вам надо, я вам помогу.

— Да я, извините, как-то робею, там господа сидят...

— Ты, хозяйка, глупая, ты за свои деньги имеешь право входить...

Крестьянка входит, и барин суетится возле нее, будто она пришла к нему в гости. Она хочет поцеловать господам руки и тоже не осмеливается.

— Не целуй, не лижи панам рук, ты такая же хозяйка, еще лучше, ты ведь имеешь свою землю...

Крестьянка глядит на барина, удивляется — и ни с места.

— Говори, что тебе нужно, говори смело. Пора уже украинским хозяйкам знать себе цену. Ты панам рук не целуй, они твоим трудом живут, они твои слуги...

Паны хохочут, крестьянка робеет больше, а барин глядит на господ — и злится, злится. Потом помогает крестьянке сделать покупку и выводит ее из трактира. Перед трактиром он опять учит ее, чтоб она никогда не целовала господам рук, чтоб она взялась за ум, уважала себя, что господа — воры и разбойники. Крестьянка смеется, благодарит его за услугу и уходит. А он возвра-

щается в трактир, свысока глядит на господ, весело насвистывает, и лицо его молодеет, глаза проясняются.

— Вы подстрекаете мужиков к бунту, я велю, чтоб вас арестовали,—говорит старшина и смеется.

Барин не глядит в его сторону и тянет пиво.

— И кто бы мог подумать, что из господина Ситника выйдет такой анархист?

Барин попрежнему молчит.

— Всегда шел вместе с нами, развлекался, а карты играл, а на старости показал свою московскую душу. Москаль москалем¹.

Господа хохочут, тешатся, а глаза Ситника наливаются кровью:

— А если я не хочу больше пить кровь и так, как вы, закладывать в полдень подушками окна и спать? Я скоро умирать буду и хочу хоть немного очиститься перед богом...

— В баню, пане Ситник, в баню идите за двадцать центов², го-го-о...

— Будет вам когда-нибудь баня, ох, будет баня...

— Что же, если вы взбунтуете народ, если возьмете косу, а мужики пойдут за вами, то может выйти баня. Но вы не такой уж страшный...

В трактир вошли два мужика, остановились у порога, и барин засуетился:

— Вы чего хотите? Не стойте, как воры, вы сами себе господа, вы хозяева...

— Мы, извините, выпили бы по скляночке вина, говорят, здесь оно очень хорошее, от живота помогает.

— Идемте в соседнюю комнату, там сядете и закажете себе, как люди, — говорит барин.

¹ В Галиции поляки пренебрежительно называли украинцев москалями.

² Цент — копейка

— Зачем, барин? Мы здесь постоим, где уж нам садиться, времени нету.

— Вот видите, какой вы темный народ. Немец тоже крестьянин, но посмотрите на него, когда он войдет сюда. Прямо ввалится, сядет — и конец!

Барин показывает, как немец идет, как садится.

Господа хохочут, а мужики растерянно мнутя — и ни туда, ни сюда. Опустили головы, не знают, что делать.

— Идемте, не будьте скотиной, идемте. Вы боитесь этих господ? Да это же ваши наймиты, вы их кормите, одеваете, а сами дрожите перед ними!..

Мужики краснеют, от смущения покрываются потом и идут за барином. В соседней комнате садятся к столу и молчат, а он звонит:

— Прошу дать нам литр вина. Пожалуйста, пейте, не озирайтесь, будто к разбойникам попали. Я человек ваш, вашей кости и крови.

— Дай вам бог здоровья, пане...

— Господа сманили меня к себе, я им служил, я забыл вас, я с ними в карты играл...

— У господ своя забава, у мужиков своя, — у каждого свое.

— Это не так: если ты украинец, то держись за украинцев, а если ты отвернулся от них, то ты последний мерзавец, босяк и разбойник, понимаете?

— Это верно, каждый должен своей веры держаться.

— Вот видите, видите. Я смолоду поганцем был. У меня в доме была картина, я ее где-то купил и повесил, портрет одного украинского митрополита. Как-то один барин говорит мне: «Я приду к тебе с визитом», — «Прошу, очень прошу», — говорю ему и иду домой, снимаю тот портрет и кладу его под кровать. Ко мне часто господа заходили, и каждый раз я прятал этот портрет...

— Это, барин, человек со страху делает, чтоб

его со службы не уволили: ведь паны не любят мужиков-украинцев...

— И знаете, я этот портрет лет двадцать снимал со стены и вешал назад, а под конец мне жалко его стало. Гляжу на него, а он такой, ну, будто сердится на меня. Нет, не сердится, а будто плачет на стене. Мне казалось, что, когда меня нет дома, он плачет громко, на весь дом...

— А разве может быть такое, чтобы портрет плакал?

— Вы меня не понимаете: это мне казалось, что он плачет, и я не раз подкрадывался под свои окна и слушал, плачет ли. А один раз в полночь иду я домой, подошел под окна, слушаю — плачет, прислушался еще — плачет. Страшно мне стало. Итти в дом или обратно, не знаю. Стою, стою, дрожу и боюсь. Собрался с духом...

— Полночь, пане, самая опасная пора, в полночь вся лихая сила ходит.

— Вы не понимаете меня, это меня совесть так грызла и так донимала, что мне голос слышался. Вхожу в дом, еле на ногах стою, не слышу ничего. Зажег свечку, боюсь на портрет глянуть. Ложусь, и так мне хочется на портрет глянуть, а смелости нет. Глянул все-таки, а он заплаканный. Меня в жар и в холод бросило, стучу зубами.

— А разве не страшно, пане, с таким портретом в самую полночь одному быть?

— Долго болел я тогда, думал — конец мне. Позвал я к себе украинского священника, рассказал ему все и готовлюсь к смерти. Но бог помиловал меня. После болезни я сразу бросил казенную службу, получил пенсию и сказал себе, что своих людей не буду стыдиться, буду с ними жить, буду их защищать. Я слабый уже, долго помогать вам не смогу, но пока держусь на ногах, буду с вами ходить, как грешник, и просить вас не отталкивать меня...

— Спасибо, пане, что так хорошо поговорили с нами. Побольше бы таких господ, дай вам бог хорошей старости...

— Нет, это я должен благодарить вас, потому что я ходил по вашей правде, как по мягкой подушке, ступал по ней и не задумывался...

Барин расплакался, а мужики с изумлением глядели на него и говорили:

— Барин, успокойтесь, не хлопчите, мы на вас не сердимся. Что нам до того, как господа живут! У них свое право, у нас — свое.

— Вы меня не понимаете. Как вы не можете понять... Я хочу, чтоб вы были людьми!

— Да мы, барин, стараемся, как можем, стараемся понять вас. Вы ученый, можете дорогу нам указать...

— Да, да, дорогу надо знать...

— Добрый какой-то этот барин...

— Должно быть, немножко выпивоха, но добрый человек...

— Есть такие господа, что, когда напьются, плачут, как мужики...

— Есть, есть и между ними такие мягкие, — говорили два мужика, шагая домой.

ДЕТИ

Дед положил возле себя грабли, потом сел на межу, закурил трубку, и мысли его, сталкиваясь, понеслись друг за другом. Затем он заговорил, да так, что на соседних полосках слышно было:

— Хоть немного отдохну спокойно, а то дома, чуть покажусь, сейчас же деду найдут работу. Невесточка, чтоб она была здорова, круть-верть и сразу запоем: «Да вы не сидите так...»

А господь, ведь он над нами, он видит, что я еле ногами передвигаю. А руки, вот видишь, как грабли. Я уже месяц не брился, а в церковь и дорогу забыл. В чем пойду, раз мою одежду забрали?

От межи к меже стлался голос деда. Все обоглаживались в его сторону, и он жаловался не переставая:

— Ох, теперь такие дети! Но мне еще, благодарение богу, память не отшибло, я еще помню, о чем мы говорили у нотариуса. Сухонький был панок, с бородкой, он все разъяснял сыну: «Пока, — говорит, — дед жив, — постель его: он может спать, он может лежать хоть до восхода солнца. А когда его, — говорит, — в гроб уложите да землю засыплете, тогда ты со скамьи перебирайся на дедову постель. А старухе, — говорит, — должна принадлежать печь, пускай она там греется.

пускай богу молится, а когда обмоете и на груди руки сложите, тогда пускай невестка лезет на печь, тогда печь ее».

Осенний ветер играл седыми волосами деда.

— А кабы нотариус когда-нибудь вечером заглянул в хату. Сын на постели, невестка на печи, а я со старухой на полу, на соломе валяемся. А разве это по правде? Где бог? У этих людей уже нет бога, ой, нет...

И головой покачал: нету бога у молодых.

— Подыхайте, старики. Для вас жалко ложки борща. Молочко поедают, творог поедают, а мы, как щенята, глядим на них. А ведь я им и коровку дал, и овечек дал, и плуг дал, — все дал. Как люди дают, так и я дал. А теперь они говорят: вы старенькие, вы слабенькие, ешьте понемногу. Так говорят нам наши дети...

Голос дрогнул, и дед оборвал жалобу:

— И похоронят, как собак, ей-богу, сапога на ногу не наденут...

Стая аистов, спускаясь в камыши, так захлопала над дедом крыльями, что он испугался, — в теплый край собирались лететь.

— Ого, уже осень! Еще немного — и рождество не за горами...

— Но какое оно умное, даром что птица, только не говорит. Ему плохо, оно ищет себе лучшего. Зимой холодно, лягушек нет, оно загодя знает это. А человек должен всю жизнь на одном месте коротать...

Встал с межи, спрятал трубку, взял грабли и пошел к дому. Несколько раз оборачивался к аистам и наконец стал:

— Ба-а-а, а кто мог бы мне сказать, дождусь ли я со старухой весны, увижу ли, когда аисты назад вернутся? Может, один из нас упадет, может, аистов не увидим больше...

ЗАСЕДАНИЕ

Выборные не спеша сходились в сельскую канцелярию. Каждый, прежде чем войти, сморкался в сених, вытирал нос полою полушубка и приглаживал его ладонью. Каждый выходил на люди так: «Славайсу», «Навеки слава», — и садился на стоявшую вдоль стены скамью.

Выборных было уже около половины. Старшие сидели ближе к столу, молодые немного поодаль. В углу, возле печки, ворохом лежали сенники, а около них стояла черная жестяная банка. Это был госпиталь. Раз или два в году доктор писал обществу, что тогда-то будет в селе. Староста вызывал полицейского Хому:

— Ты, браток, должен завтра прибрать канцелярию, пришло, видишь, письмо, что доктор придет. Вымоешь немного пол, посыплешь песком, разложишь по полу сенники, накроешь их мешками, нальешь по углам вонючей воды из банки... ну, и замажем глаза. Есть приказ, что должен быть холерный госпиталь, значит, так тому и быть!..

Полицейский раза два в году делал из канцелярии госпиталь. Выборные на совещаниях долго чихали потом и говорили: «Ну и паскудно же воняет». Те, что были в солдатах, говорили, что доктор, наверное, делал «реперацию» и усыплял —

оттого, мол, так и вертит в носу. А Павло Дзинь чувствовал себя хорошо: он все дремал на совещаниях. Когда кто-либо чихал от госпитального запаха, раздавались голоса:

— Павло слаб на голову: мы все чихаем, а он спит. Надо сказать доктору, чтобы не усыплял нам выборных, а то все наше совещание никуда не будет годиться.

Павло не защищался, только глядел испуганными глазами на выборных, и лицо его становилось еще темнее. Выборные считали его дурачком и всегда смеялись над ним.

Они сидели на скамье и разговаривали неторопливо, лениво. Каждый сидел так, как ему было удобней, как привык сидеть. Иван Павлюк, что сидел у самого стола и был самым старшим, склонился, молитвенно сложив на животе руки, и плевал, покуривая трубку. Ладони, нос и колени его были в близком соседстве. Так сидел он и говорил о ярмарке.

— Чтоб мои глаза не видели таких ярмарок, как нынешние. Торговцы с панами весь свет заполонили. Кто продает? Торговец. Кто покупает? Пан! А народ где-то в сторонке что похуже продает: теленка, жоровку... То, се, а волов совсем уже мало...

— Да, тяжело жить стало. А каждый думает: куплю теленка, выхожу, иногда мякины запарю ему, тыкву кину, глядишь, и вырастет на отбросах. Тяжелые годы пошли...

— Правда, что тяжелые. Когда-то, бывало, попы покрикивали на народ, чтоб не пил и не пускал на ветер денег, а теперь, видите, народ и не пьет и не тратит попусту, а крейцера не видит. Со всем народ обнищал, даже на пасху мало кто сало имеет. Так тяжело, говорю вам, как под камнем...

— Все переменялось. И скотина уже не та. Теперь скотина пошла пестрая... тирольская, а

прежде была белая. Я еще не такой старый хозяин, а за женою взял таких белых волов, как снег, а рога были у них такие, что в ворота не проходили... Эх, бывало, и бегали, как кони. Когда ездил в город, зануздывал. Говорили, то была скотина венгерская, а теперешняя, говорят, тирольская. И дешевле была скотина, куда-а-а...

— Дешево продавали, да дешево и покупали, но лучше было. Смотрите, не только рогатый скот переменился, свиньи разве такие были? Были всякой масти, шерсть длинная, ноги жидкие, а теперешние свиньи все белые и гладкие. Как станешь на свином базаре, земля ими, как белым цветом, усеяна. Только поляки толстопузые похаживают между ними.

— Да, всякая есть порода. А разве люди все одинаковы? Как-то был я в Коломые, смотрю, — идет какой-то такой, как чорт, прости господи. Лицо все черное и руки. Думаю про себя: «Да этот если встретит ночью на мосту, то каждому потом надо молебен с водосвятием служить». Ей-богу. Какой-то барин говорил, будто есть такие люди на земле...

— Да уж верно, всякая порода есть. Мой Василь, когда служил в Вене в солдатах, видел таких свиней, что ни ушей, ни рыла, ни ног не видно, — одно туловище...

— Все на свете бывает, а беды больше всего. Беседу прервал приход старосты.

— Ну что, староста, слышно в городе?

— Если б деньги, то в городе хорошо было бы. Вижу, господа знай заходят в ресторан да пьют, едят, что получше, и деньги имеют. Хоть бы на неделю сделаться паном, — сказал староста.

— Это еще смотря каким паном. Есть такие, что на соломе спят и зубами вшей ищут. Сверху жилетка, а рубахи нет. Нацепит на грудь немного полотна — и нарядился. Не один такой голодает и

готов жмых есть, — сказал Проць, служивший когда-то у барина.

— Был я у секретаря насчет выгона. Болтал он мне о чем-то, болтал да и говорит: «Если б в вашем селе люди меньше газет получали. Это, — говорит, — мошенничество. Мужиков очень много, — говорит: — если двадцатая часть их даст по леву¹ на газету, то соберется денег тысячи тысяч. Какой-нибудь молодчик, — говорит, — все сам напишет, туману подпустит, умаслит, загладит, а глупые мужики, — говорит, — читают и облизываются, надеются, что панское поле к народу перейдег».

— А вы, наверно, стояли да поддакивали? — спросил молодой выборный Петр Антонов.

— Нет, брал его за грудки из-за какого-то там голодранца, что мутит людей. Хорошо поп из Грушевой говорил, что народ слушает всяких арестантов, верит им, а потом, в случае чего, сам же, глупый, в тюрьмах сидит, а те, что подбивали его, исчезли — и след простыл. Мало разве покалечили нас? Я только не люблю, когда меня поддеть хотят. Разве я общество продал или изменил ему? Разве я лезу вперед на выборах? Выбирайте, кого хотите, я стою в стороне.

— Вы лезли бы, но мы кричим: тю-у... Вы б перед выборами и детям колбасы принесли домой, — сказал Петр Антонов.

— Молчи! — закричал староста. — Молчи, а то велю заковать тебя, ты, сморкач! Глядите, хозяева, или я с ним свиней пас?

— Вы у меня под носом не вытирали, а моим словам можете так же поддакивать, как поддакивали секретарю.

Ссора готова была перейти в драку, и старый Иван вмешался:

— Ты, Петро, не будь умнее всех, ты, брат,

¹ Лев — рубль

молодой и должен старшему уступить. Один человек ничего не боится, а другой боится. Я, хозяева, всегда за общество стоял и стою, но, ей-богу, на ваше собрание не пошел бы. Как-то осенью был я в городе. Встречает меня один и говорит: «Идите на собрание, хоть на старости поглядите, как мужики объединяются». Говорю я ему: «Ей-богу, я не пойду. Оно хорошо, что объединяются, общество, как говорится, большая сила, но я не пойду. Я, говорю, вырос и поседел, но в тюрьме и часа не сидел. А теперь на старости зачем мне это бесчестье? Чтобы каждый ребенок в селе показывал на меня: «Смотри, дядя Иван в тюрьме сидел». Не пойду — и не пойду. Мой Микола ходит, а я не пойду...»

Кое-как Иван унял ссору, но староста и Петр были еще сердитыми, и он, чтобы они вновь не сцепились, сказал:

— Мы вот болтаем, болтаем, а вы, староста, не говорите, зачем созвали нас.

— Скоро я не буду сзывать вас, отбуду свое, плюну на должность, пускай у вас сморкачи будут за старосту.

— Или вы думаете, мы старосты не найдем? Мы на всю округу старост поставлять можем, — не удержался Петро.

— Что-то церковный совет хотел сказать выборным, — объявил староста.

Член церковного совета, Василь, начал говорить:

— Вот не знаю, не то в четверг, не то в пятницу прибежал ко мне сын писаря. «Ой, — говорит, — дядька, я видел, как старая Романиха из-под церкви доску тащила...» Пошел я на другой день к церкви, действительно одной доски нет. Это еще из тех, что от колокольни остались. Правда, они уже погнили, но разве можно церковное трогать? И подумать только, такая старая женщина, а берет чужое. Пошел я к попу и рас-

сказываю, а поп говорит: надо выборным сказать, нельзя допускать, чтобы церковь обворовывали. Я бы, пес с ним, ничего не сказал, как бы оно мое, но ведь церковное, его надо беречь, — жаловался Василь.

Все молчали, — никто не ожидал, что старая Романиха — воровка, никогда не было слышно, чтоб она воровала.

Через минуту вошла Романиха. Старая, обворванная, с синим лицом, она стала у двери и быстро сквозь слезы заговорила:

— Я, хозяйева, украла эту доску, да, украла, для того чтоб вы узнали, как мой сын на старости заботится обо мне. Да я в хате клочка соломы не имею, чтоб протопить. Я сижу на печи и замерзаю. Всему селу шью, пряду, пальцы мои коченеют. Глаза мои уже загноились. Немного еще зарабатываю, чтоб с голоду не умереть, а на топливо нет ни крейцера. Я своему сыну все до крошки отдала, себе только один угол оставила, а он ко мне даже раз в месяц не заглянет. Вошел бы и спросил: «Бес или чорт, что ты делаешь?» Так нет...

— Значит, надо у церкви красть? Вам, бабушка, уже недолго жить осталось, надо помнить о том свете. Вы старая женщина, и я скажу, чтоб вас не запирали в холодную, не били, а вы дадите один лев на церковь. И ступайте себе с богом, и чтоб больше я не слышал ни о каком воровстве, — рассудил староста.

Романиха кинулась к столу, как ошпаренная:

— Ой, староста, да я умру, а столько денег не буду иметь. Где у меня деньги? Где? Где?

— Должны, — ответил староста.

Выборные молчали, — знали, что Романиха очень бедствует и денег у нее нет. Но ведь она украла, — что правда, то правда, — да еще украла церковное! Они уже хотели посоветовать ей, чтоб

она вносила по шистке, по две, когда заговорил Петро Антонов:

— Я, люди, считаю, что такую бедную вдову нельзя так наказывать. Церковь, пожалуй, не согреется вдовьим левом. Говорят, что когда-то церкви проваливались и на их месте оставались бездонные озера. Если бы таких вот кровавых вдовьих левов набрать и положить в церковную кассу, то, должно быть, ни одна церковь не выдержала бы вдовьих слез. Это было бы против правды. Вместо того чтобы церковь дала старухе, брать у нее эти несчастные деньги? Я как-то заходил к Романихе за пряжей. Вхожу, а у нее в хате холодище, как в сарае. На шестке горит катанец, — огонек, как пшеничное зерно, — только и всего. Старуха сидит, трет окоченевшие пальцы. Я считаю, хозяева, нельзя требовать, чтоб она платила...

Староста злобно глянул на Петра.

Выборные вздохнули, будто с их сердца свалился камень.

Все в один голос заговорили, что не надо старухинового лева.

И старый Иван сказал:

— Пускай бог сохранит!

Потом велели позвать сына старухи, и старый Иван принялся стыдить его:

— Человече, ах, человече, ведь она тебя маленького в поле берегла, тени для тебя искала. Она тебя обмывала, и обшивала, и плакала, когда ты в солдаты шел, а ты ей клочка соломы не бросишь? Эй, если б я был старостой, я б тебя до страшного суда в цепи заковал, — усовещевал Иван.

ШЛИ ИЗ ГОРОДА

Первый:

— Одного полотна кусков пятьдесят осталось после смерти. Такого богача поискать. Хлеб стоял немолоченный по десять лет. Было имущество! А сколько денег! Покойник каждый год продавал пару волов за четыреста левов. Где те деньги? Где имущество? Неизвестно даже, кто погрелся деньгами. Пришла смерть — и должен все бросить.

Бывало, придем к нему колядовать, споем колядку, споем другую, а он выйдет из хаты и: «Прошу, братья, в хату, я вас хорошо поблагодарю за колядку». Входим в хату, усадит он нас за стол и говорит: «Будете гостевать так, как есть: кабы я не один был, то жена приготовила бы все, а так — пускай жена с богом почивает в могиле, а вы извиняйте». Сам нас угощал. Накладет, бывало, хлебов величиною с точило и таких белых, как из фунтовой муки¹. А как внесет сала — оно в ладонь толщиной. Теперь такого сала даже у мясников не видно. Водки столько было, чтоб вдосталь хватало. Бывало, пьем и едим, а он про-

¹ Фунтовая мука — белая мука (потому фунтовая, что крестьянин может купить ее только несколько фунтов, на большее количество не имеет денег). (Пгич. автора.)

сит, как на свадьбе: «Пейте, братья, если нехватит, еще принесу, напивайтесь у старика». Мы пьем и колядуем старику:

Будь же нам здоров, пане Максиме, в неділю,
В неділю рано зелене вино сажене.
Виншуем тебе щастям, здоровьям в неділю,
В неділю рано зелене вино сажене.
Чесний, величний, а в бога влячний в неділю...

Кончим колядку, а он пьет чарку за наше здоровье и слезы вытирает. «Когда старуха моя, — говорит, — жила, вы ей колядовали, а теперь вам некому колядовать, а мне некому рубаху выстирать. Я, — говорит, — не знаю, в каком углу приютиться, где головушку приклонить!» У нас, знаете, даже слезы на глаза навертывались, когда он начинал о своем сиротстве говорить. Так нередко часа по три просиживали мы у Максима. Соберемся, бывало, уходить, а он не отпускает. «Хватает, — говорит, — у меня и есть и пить, как говорится, и хлеб и к хлебу; погуляйте еще у меня, ведь когда я умру, будьте уверены, вам в этой хате больше не пить. Как только зароят меня в землю, мой Тимофей все на ветер пустит.... Все до последнего. Я, — говорит, — стар, чтоб врать, а вы, молодые, вы будете жить и увидите...» И вот, глядите, так и вышло, как покойник предсказал...

Второй:

— Как-то пономариха полола огород и рассказывала, что он, покойник, не любил в кабак ходить. Только, говорит, раз или два в год надевал черес¹, брал деньги и айда в кабак. Правда, не любил он ходить туда, но уж если заходил, то даже сороки и вороны пили... Пил всяк, кто хотел.

¹ Черес — кожаный пояс, в котором носят деньги.

О полночи он возвращался домой крепко проспиртованным. Тогда, говорит, все соседи знали, что он идет домой. Станет, бывало, в воротах у себя и кричит: «На сирот, на бедных отпишу, а ему не дам, ни-ни, не оставлю тряпочки мизинец обмотать». И шел на завалинку, — пьяный он не входил в хату ни зимою, ни летом, — спал на завалинке. И рассказывают, будто нечисть какая-то прицеплялась к нему и мучила его. Стонет, стонет, как корова, вскочит с завалинки, вокруг хаты бегаёт и кричит: «Разбойники, воры, зачем мой груд растаскиваете?..» Схватит кол и носится по двору, словно собака за какими-то злодеями. Потом смотришь, а он вновь дремлет на завалинке. Ого, а через минуту верезжит, прямо хоть уши затыкай: «Паршивый, ты зачем корову из хлева выводишь? Да я тебе аминь сделаю». И опять летает, как полоумный, по току... Так, говорила пономариха, всю ночь носило и мучило его. Спит на завалинке и сквозь сон кричит: «Глядите, глядите, уже с молотка продают, уже печатаывают, уже колокольчиком вызывают». Должно быть, правда, что он еще смолodu купил себе злого духа. Он и со скотиной умел обращаться, коровы у него по подойнику молока давали.

Т р е т и й:

— Вскоре, как умер Максим, у меня парень заболел. Думаю себе: надо какого-нибудь лекарства искать. Умрет бедняга, и хороню неведомо на что и в чем. И пошел я к нашей шептухе — Касьянихе. Действительно, пришла она, пошептала над парнем и, как та, знаете, почта, села и рассказывает. Ходит по всему по селу и знает, где что делается... Вот и говорит она жене: «За неделю до смерти был у меня Максим...» И я слушаю. «Еще, — говорит, — заря не занималась, а он пришел. Услышала я, что кто-то дверью скрипнул, вскочила и го-

ворю: верно, к роженице зовут. Гляжу, а это старый Максим. «Ты баба, — будто бы говорит ей покойный, — еще спишь, а ведь уже день. Ей-ей, — говорит, — день». Сел он на скамейку, а сам на себя не похож, такой, что ах. «Ты, — говорит покойный, — шептуха, вот и объясни мне сон. В са-мую, — говорит, — полночь приснилось мне, что будто я вышел из хаты во двор, а с полудня надвигается такая черная туча, что даже края унес синие! Ну, думаю, вот сейчас ударит град, ой-ой, и пойдет хлеб прахом. И пошел я в хату, вынес кочергу, лопату и положил их крест-накрест. Да, только я сложил их, гляжу, а из-под угла хаты вода просачивается. Стал я и удивляюсь. Э-э, из-под другого угла, из-под третьего, из-под всех углов родники забили. Я испугался, глянул на ток, а там такие родники играют, как на пожне. Побежал я будто за заступом, спускаю воду в пруд, а она будто сарай подмывает, снопы мнет. Отбрасываю где-то снопы, даже вспотел, и проснулся. Ты, — говорит, — какая-то шептуха, разъясни мне этот сон, что означают эти родники?» — «Ну, — говорит Касьяниха, — что я ему сказала, то сказала, но он на той же неделе умер». Она, ведьма, помогла Максиму так же, как и моему парню... Кабы она мне на глаза попалась, избил бы, как собаку. И деньги взяла, и водку пила, а парень поболел три дня и умер.

Первый:

— Значит, был вещуном, раз исполнилось все, что предвещал. На его дворе могут теперь родники играть: ни хлеба в закромах, ни скотины, — все Тимофей распродал. Пошло богатство за водою...

Второй:

— Да тут, видите, какое дело: не взлюбил он сына, при жизни доброго слова не сказал ему, ну тот дорвался до имущества и так напугал, что ни-

кто концов не найдет. Банк, какие-то векселя и всякая беда. Пропадет все на корню. А ведь Тимофей не пьет, просто все из рук как-то валится у него. Бог знает...

Третий:

— А вы слышали, какая морока у Тимофея с женою? Вижу, он уже добивает ее. Как-то осенью приехала к нему из банка комиссия и говорит: «Или деньги, или пускаем имущество с молотка». Повертелся, повертелся он и кидается до жениного имущества. Она, дура, возьми да и подпишись у нотариуса и дай ему свою землю продать. Получила она будто, говорят люди, какой-то вексель, а теперь этот вексель шкурой с нее сходит.

Первый:

— Ой, и правда, что глупая. Вторая жена, и детей нету. Да случись у мужа какая-нибудь прихоть, ну, и марш, баба, из хаты под чужие плетни. Дети от первой жены сразу выгонят. Вот и ищи тогда, баба, права: неизвестно, где и как?..

Второй:

— Да она, вижу, отдала тот вексель брату, а теперь подходит срок платить по нем, вот их и прижимают. Теперь у них в хате такое делается, что птица на крышу не сядет. Как узнал он, что вексель уже в городе, как прикатил из города, лошадей не распряг, влетел в хату и к жене:

— А вексель где? — говорит.

— Ой, я отдала его брату.

— Да у тебя кто муж — брат или я?

И, вижу, бил, бил ее, ребра поломал: как услышал о векселе, рассудок потерял.

— Клади, — говорит, — голову на порог, отрублю, ты пойдешь сырую землю есть, я — на зиселицу, а дети панам воду носить.

А она, вижу, молила и просила:

— Ой, говорит, муженек, если б я от тебя имела хоть одного ребенка, а так, чуть что случится с тобою, пойду я по чужим углам куковать?

— Будешь, — говорит, — куковать, как глухая кукушка, пока я тебя в гроб не вгоню.

И легли спать — она к стене, он с краю. Каждый час вставал он и бил ее. Говорят, грязь из нее сделала. Утром хотела она убежать, но он привязал ее и месил каблуками, как глину. Пускай бог хранит от такого!

Третий:

— Ошалел человек — и конец. Утром отвязал ее, приказал получше одеться и потащил ее, избитую, в другое село на престольный праздник. Но на празднике, рассказывали люди, она сбросила безрукавку, а сорочка на ней кровавая. Обступили ее бабы и спрашивают: что это такое? А она, бедная, в слезы. Все люди глядели, как на диво. А Тимофей, вижу, встал из-за стола и: «Жена, — говорит, — марш домой». Вот как они справили праздник. А как возвращались домой, один бог знает...

Первый:

— Совсем люди пропадут, будто их в прорву столкнули.

Второй:

— Все-таки покойный Максим что-то знал. Смотри, родники подточили, размыли его имущество, а теперь у невестки из плечей потекли...

Третий:

— Так же знал, как и мы. А не так ли прахом пошли все хозяйства? Или одно Максимово? Да ваш же отец имел и землю и волов, а вы вот уже ходите наниматься.

Второй:

— Иметь-то имел, но когда? Ой-ой, когда имел! Вот мы и добрались до села. Языки о том да об этом, им все бол-да-бол, а ноги бедные идут да идут. Вы завтра куда на работу?

Первый:

— Да на панский двор!

Второй:

— А я к этому паршивому торгашу, чтоб его удар хватил. Еще с лета должен ему.

Третий:

— А я к попу...

ПОДПИСЬ

Маленькая Доця ходила по скамье за спинами хозяев, которые за длинным столом писали свои фамилии. Каждый списывал со своего образца. Грубыми руками эти писаря примерялись со всех сторон и не знали, как лучше начать. Грудью так наваливались на стол, что он тяжело скрипел. Ученье шло тихо, слышно было лишь чмокание губ, когда хозяева слюнявили карандаши. А беловолосая Доця заглядывала каждому через плечо: хорошо ли пишет?

— Доця, ну-ка посмотри, как оно выглядит?

— Еще лохматое все, как нечесаный лен, пишете еще...

И мужик засовывал в рот карандаш и вновь начинал писать.

— А ну-ка, глянь на мое, я уже второй вечер его чешу, даже грудь болит. А ну, читай, что я написал!

— Павло Лазиренко.

— Действительно, я. И так написано, что каждый разберет?

— Каждый, кто грамотный.

Павло покраснел от удовольствия и разглядывал бумагу со всех сторон.

— А ну-ка, еще раз напишу, — и он наклонился, слюнявя карандаш.

Доця важно ходила по скамье, ее мать глядела с печки и унимала мальчишек, чтобы не мешали.

На скамье сидел старый Яков Яремов и с превеликим удовольствием глядел на мужиков. Ему уже трудно было молчать. Два часа напряженно, со вниманием следил он за учением и не выдержал:

— Эй, хозяйева, да оставьте хоть немного на завтра, а то у вас груди потрескаются.

Мужики подняли головы и осоловело поглядели на него.

— Я вам это добро нашел, и вы должны благодарить меня, а Доце подарок купить.

— И кто это вас надоумил?

— Беда навела.

— Какая беда?

— Векселя...

И старый Яков в сотый раз начал рассказывать, как было дело.

— Вы все знаете, что ради водки я не закладывал земли в банках, за это меня бог наказал бы. Но старуха толкнула на это.

— Какая старуха?

— Вы вот молодые и учитесь, вижу, письму, а ничего не знаете. Входит раз старуха из кладовки и говорит: «Ой, старик, даже муки у нас нет, чашки две осталось». Подумал я, подумал и марш в город записаться на сотню в кредитном банке. Пришел, знаете, в банк и говорю: так, мол, и так, нет хлеба детям, прошу, пане, вашей и божьей милости дать мне взаймы сотню.

«Землю имеешь?»

«Э-э, барин, теперь человеку без земли никто ничего не даст».

«А твоя она?»

«Моя».

«Не заложена, чистая?»

«Все чисто».

«Должен кому?»

«Должен кое-кому из лавочников, но это не долг, а прыщ. Я на эту сотню и хлеба для детей куплю, и торговцам рот заткну».

«Ну, — говорит, — принеси бумаги и пойдешь на заседание».

«А когда притти на заседание?»

«Объясняй мужику! Ты на заседании не нужен, нужны только твои бумаги».

«Извините меня, пан, я не понял, а бумаги вот они, — вынул я из-за пазухи сверток и подаю. — Там, — говорю, — где-то все есть, я в одну пачку складываю все бумаги. Я, видите, ничего в этом не понимаю и держу все вместе».

Перебрал он бумаги, нашел, что ему надо, и говорит:

«Через неделю приходи».

Ходил я туда раза три, под конец говорит он, что деньги будут, и спрашивает:

«А умеешь, старик, писать?»

«Ну, где, барин... В школе меня не учили, в солдатах не был, — совсем слепой...»

«Значит, придется подписывать у нотариуса».

«Я, -- прошу его, — положу знак своею рукою, крестик, а вы подпишите...»

«На векселях, — говорит, — нельзя крестов ставить».

Задумался я тут. Если возьмут за подпись, если проценты вперед высчитают, если нотариусу заплачу, то капиталу мне останется мало. Забегал я по городу, ищу поручителей и встречаю сапожника, вора этого, Ляпчинского... Он, как горе, все по городу слоняется. Остановился я, рассказываю о своей беде.

«Мужик, — говорит, — всегда глупый: гниет всю зиму, а научиться не может даже свою фамилию писать».

«Хоть ты и вечный вор и лоханка господская, но

слова хорошие говоришь», — подумал я и побегал дальше. Привел поручителей, подписались мы у нотариуса, но из сотни тринадцать левов у меня урвали. Несу я деньги домой, а этот сапожник из головы не выходит. Вор-то он вор, но справедливые слова говорит. Ведь рвут, сдирают кожу, как с вола. Сотню будто взял, а домой что несешь?

На этом месте Яков каждый раз плевался, плюнул и теперь.

— Каждый хочет от твоих рук попользоваться, каждый хочет даровщинки, оттого и трудно так стало — и чем дальше, тем труднее. Положил я деньги в сундук, а сам к Доце. «Ты, Доцька, — говорю, — научи деда фамилию подписывать, пускай он панам горла не набивает, оно и так набито. Я хочу тебе юбочку купить...» И научила она меня, а вы, как слышали, смеялись над дедом. Но пришлось вам круто, нужно вексель подписывать, и вы за дедом к Доце. Я вам дорогу показал, и вы не будете денег зря тратить...

— Да уж не будем, — отвечали мужики, — и будем благодарить вас и Доцю, нашу учительницу.

— И все вы должны ей подарки принести!..

— Да уж верно.

Доця сидела на печке и радовалась; на губах ее матери светилась улыбка...

ПИСЬМО

*Политическим заключенным —
мужикам*

В хате было так светло, что старая Грыциха видела каждый след пальца Иванка на стене.

Солнце опускалось за лес, что стоял перед хатой на горе, и оставляло в его ветвях дорогие сверкающие камни, а лес отбрасывал лучи в окна хаты. И лучей в хате было так много, что старуха видела каждый палец Иванка на стене.

— Эй, Иван, чтоб я больше не видела тебя на скамье. Глянь, что со стенами сделал? По полу бегай.

Иванко бежал от порога к столу, на нитке возил за собой катушку и говорил старухе:

— Не бойтесь, я, ей-богу, больше не буду.

Возле старухи на печке сидела маленькая Марийка с косичкой, как мышинный хвостик.

«Боже, боже, как тяжело всем стало жить, а святки придут, народ все-таки веселится», — думала старуха.

Лицо у нее сморщенное, губы синие, руки сухие, волосы седые, — вот какая она.

— Ба, дядько Василь идет к нам с Миколой Семеновым, с тем, что в школе учиться.

— Уходи с пола, беги к бабушке на печь.

В хату вошел Василь со школяром.

— А у вас, мама, на печи рождество? Желаю вам счастья-здоровья, чтоб вы еще пожили с нами, с праздником, — поздравил Василь мать и поцеловал ей руку.

— Ой, сынок, не рождество у меня в голове. Я, дитяtko, все дни плачу — и будни и праздники, — сказала старуха, и на глазах ее показались слезы.

— А я пришел прочитать вам письмо от Федора, вчера с почты пришло. Микола вот прочитает...

— Что он пишет: здоров или болеет?

Василь вынул из кармана письмо, подал его школяру, и тот начал читать:

«Любимый брат мой Василь, и вы, мама. Кланяюсь я вам на рождество и поздравляю вас с праздником. Заколядовал бы я вам колядку из тюрьмы, но боюсь, что ветер мою колядку потеряет в лесу и не донесет под ваши окна...»

Мать облилась слезами, Василь молчал.

«Здесь арестанты как заколяют, так даже серая каменная стена рассыпается, даже ржавчина с решеток спадает. Так поведут голосом, что даже часовые прислушиваются. И какая колядка в неволе грустная да страшная. А я всю эту ночь вспоминал о коляде. Когда я еще мальчиком ходил колядовать, как вы, мама, просили отца, чтоб он пустил меня в коляду, а потом как мы уже парнями со скрипкой ходили колядовать. Станем, бывало, как лес, под окном. Колядуем, а скрипка плачет, как ребенок. Мы колядуем еще громче, а скрипка все плачет, и никогда мы не могли заглушить ее. Вот и теперь слышу, как эта скрипка плакала, ну, будто где-то рядом плачет...»

— Ой, сынок, сынок, то-то ты детей осиротил, — шептала старуха.

«Но порой, мама, так мне в этих стенах страшно, что не могу я один на койке лежать и иду к кому-нибудь, иначе умер бы. Как вспомню о Насте, о том, что она из-за меня в землю пошла и

детей осиротила, то кровь из сердца капает. А сквозь решетки видны звезды. И я гляжу, как одни из них, побольше, ведут за собою меньших, и думаю о большой, что это Настя, а за нею маленькие — это Марийка, а это Иванко, а это Василько».

— Ой, сынок, не бери ты себе в голову такой большой заботы! — крикнула старуха, будто Федор не писал, а говорил ей.

«И все мне мерещатся похороны Насти. Идете вы, идут дети за гробом, идут соседи. Хоругви ветер треплет и спрашивает: «А где муж этой женщины?» И порванная хоругвь говорит ему: «В Станиславове, в тюрьме...»

— Ой, замуровали тебя, сынок, в неволе, — вздыхала старуха.

«Я хотел неправду корчевать, а они меня с корнем вырвали, жену убили, и дети остались на божью волю. Чтоб ты, брат Василь, и вы, мама, о моих детях заботились. Чтоб им головы в субботу мыли, а в воскресенье давали чистые рубахи. Чтоб они грязные не ходили, чтоб их вши не ели. А главное — чтоб вы, мама, за маленькой Марийкой приглядывали. Чтоб оно, маленькое, не слюнявило рубахи и не плакало, потому слюна в грудку въедается. Знаете, если сирота плачет, все ангелы плачут...»

— Обчесываю я твоих детей каждую субботу, и рубахи им полощу каждую неделю, и пускаю старые слезы за водою, — отвечала старуха.

«А ты, брат Василь, заботься о моих ребятах. Не пускай их в мешковине по дождю, сшей им свитки, научи их уму-разуму вместо меня, не пусти их под плетни. Сделай из них хозяев да наказывай им, чтоб своих отца и мать не забывали, потому их отец не был плохим человеком, а за свое право стоял».

— Ой, Федор, не пушу я твоих ребят под чужие

плетни и учить буду, как родных, — проговорил Василь.

«А ту нивку, что возле леса, засейте пшеницей, это хорошая нивка, недавно унавожена. И делайте так, чтоб моим детям зла не было, потому, я так думаю, отсюда я уже не выйду. И напишите мне обо всем, что делается дома.

Кланяюсь я тебе, брат, и вам, мама, и детям моим.

Федор».

Старуха рыдала, дети за нею.

— На тебе крейцер, на вот да не плачь... Вот, слышал, отец говорит, чтоб ты бабушку слушал, чтоб ты не баловался, — говорил Василь Иванку, давая ему новенький крейцер.

СВЯТОЙ ВЕЧЕР

В ворохе лохмотьев, синяя от холода, старуха сидела на печи и безостановочно билась головою о стену. На лежанке сидел ее сын.

— Если я даже продамся, топлива ниоткуда не достану вам, а если украду — поймают. Сидите на печке, обворачивайтесь старьем, как можете, и ждите тепла. У меня малые дети, и те, бедняги, вянут на морозе. Вот принес вам хлеба, водки немного, чистую рубаху, ну и справьте праздник побожьему. А может, еще кто-нибудь принесет чего. Да не бейтесь головою о стены, ничего из них не выколотите...

— А если я, сынок, такого мороза, такого холода не могу вынести? Я даже в костях мороз чую. А головою об стену бьюсь... потому, что давно окоченела бы, если б не билась.

— А ноги не поправляются?

— Ноги, сынок, набрякли: ни выпрямить, ни согнуть.

Показала ноги, синие и блестящие, как стеклянные колоды.

— Я не могу ночей переносить: такие они долгие-долгие, будто их десять в одну сложили. Все молитвы перешепчу, обо всех передумаю, самого маленького ребенка вспомню, а дня дожидаться не могу. И так горько сидеть одной в этой холодной пещере.

— Хотя бы господь смилостивился и не дал вам долгой муки.

— Ой, сынок, я смерти, как родной матери, жду. Ночью в каждый угол вглядываюсь, не привидится ли: если привидится, значит скоро придет. Но вот нету ее...

— Смерть-то придет, но когда? А лошади стоят. Снимайте-ка грязную рубаху, я на вас чистую надену.

— Я, дитятко, замерзну, если ты на меня чистую рубаху наденешь. Я рада, что эту на себе согрела, своей вше рада, что наплодилась она: укусит, теплее коже.

— Вы уже из ума выжили. Нельзя же на рождество во вшах сидеть.

Надевал на мать рубаху:

— Недолг ваш путь: кости, как ножи, из кожи вылезают. Хотя бы скорее.

— Да и я, сынок, говорю, скорей бы уж.

— Ну, празднуйте, будьте здоровы.

— Иди, иди, господская служба не ждет...

Дрожала на печи от холода и билась головою о стену:

— Вот хороший сын у меня, как ухаживает за мною, не забывает. Никогда не стыдится, что мать с сумой ходит. Благословляю тебя, сынок, на все доброе.

И благословила рукою.

Тихонько билась головою о стену, будто радовалась, что имеет хорошего сына.

— Славайсу...

— Навеки слава...

— Я вам, бабушка, сладкой кутьи и теста принесла, чтоб вы за мою Марию молитву прочитали.

— Прости бог, голубка, я прочитаю молитву за твою Марию.

Крестилась синими руками.

— Славайсу.

— Навеки слава.

— Принес я вот немного пирогов, а вы за мою старшую молитву прочитайте.

— Бог да простит, Андрей, я прочитаю за твою Катерину молитву.

Шептала молитвы.

— Славайсу...

— Навеки слава.

— Я вам, бабушка, рыбки принесла, а вы за нашу маму поклонитесь богу. У людей праздник, а мы так плачем, будто на скамейке еще мамино тело лежит. В прошлый сочельник она нам ужин готовила.

— Я, сиротка, поклоняюсь богу за вашу маму.

Девушка с плачем вышла, а старуха вставала, поднимая с печи пыль, целовала землю, поклоны клала.

Много мисок нанесли ей люди.

Вечер туманил ей глаза, и она уже ничего не видела, — только молитвы расходились с печки по хате.

Ветки груши скребли окно, и стекла звенели.

— Колядуй мне, грушка, колядуй, никто мне в этот вечер колядовать не будет, в такой великий вечер только ты старухе колядуешь.

Старуха держала бутылку с водкой:

— Я буду водочку попивать, а ты хорошую колядочку колядуй и мне и моему сыну за то, что он своей мамы не чурается.

Пила.

— Если б не он, меня только весной нашли бы, когда смрад с печки на дорогу ударил бы.

Пила.

— А давай, грушенька, запоем эту, бабью, где говорится:

Нова радість стала, яка не бувала.

Над вертепом зірда ясна світу засіяла...

Надорванным голосом пропела всю колядку.

— Теперь весь мир, весь род колядует и веселится, а я с грушей, мы обе одинокие. А давай, грушенька, споем моему Митру эту, стародавнюю:

Виншую тебе щастем, здоровьем, повий,
Повияв витер, похилив явир стихенька...

Врезжала, будто с нее лентами кожу сдирали.

— Эту колядку мой старик любил колядовать. Видишь, старый, я без тебя пью, гуляю и колядую. Твоя грушка со мною колядует. А с тобой я, ой, нет, ой, нет... Я не твоя уже хозяйка.

Пила.

— Ой, не твоя. Я без тебя свою долю нашла, я себе суму сшила и под окна пошла. А раз я с сумой переступила твой порог, я уже не твоя хозяйка, нет права...

Пила.

— Но когда я с сумой, Михайлику, в первый раз вышла на дорогу, я слышала, как ты в гробу перевернулся, мне перед ясным солнцем стыдно стало, и я вернулась в хату. Молитвы нищенские творила в твоей хате. Вот какую хозяйку оставил ты после себя.

Пила.

— А теперь меня, муженек, собаки всех сел знают, и я твоей палкой отгоняю их. Но этим нищенским хлебом я сына вскормила. Он маме есть принесет, он маме сорочку на плечи натянет, он мамы не чурается. За него, старик, все грехи простятся, за него за одного. Ведь за свою хозяйку ты милости у бога не выпросишь...

Опьянела.

— А все же я, старик, пьяная, негодница я! Если б ты меня теперь увидел! У тебя б душа возрадовалась. Но уж и порол бы, уж и бил бы меня. Взял бы за косы да голову в колени — на-

двое перервал бы... Бей нищенку, она память о тебе с сумой по свету развеяла. Бей, как собаку, бей, пускай она в твою хату нищенских кусков не таскает.

Выпила остаток:

— И притисни ты свою хозяйку к стене да возьми за косы и вот так, вот так, попрошайку...

Билась о стену головою, как помешанная:

— Вот так, пускай терпит сума мирская..

ПОЛЕ

Длинное такое и широкое-широкое, — глазом нельзя окинуть. Плывет на ветру, утопает в солнце. Мужички нивы захватывает. Словно широкий, длинный невод вылавливает полоски, как мелкую рыбешку, — вот какое это поле.

Сухие стебли картофеля шуршат на нем. Под кустом маленький ребенок. Рядом хлеб, огурец и миска. Черный сверчок прикоснулся к ножке ребенка и убежал. Зеленый кузнечик держится в стороне. Медная жужелица торопливо обегает ребенка.

А он плачет под шелест стеблей. Вот он приподнялся и упал лицом в куст, жесткие стебли забили ему рот. Он бьет ножками, изо всех сил напрягается и медленно синеет...

А посреди выкопанных кустов спит мать. Ноги — сплошная рана: исколоты, иссечены, исцарапаны. Лежит, как камень, и кажется привязанной черными волосами к земле.

Солнце радо бы всю свою силу положить на ее лицо, но не может поднять ее и уходит за тучу.

Черный ворон взлетел, кружится, кружится, каркает.

Наконец она проснулась и прислушивается.

— Вот ведь, за работой заснула.

Взяла заступ и выкапывает один куст за другим.

— Хорошо, что спит. Такая мука ему и мне с ним. А заработать надо, зимой никто не даст...

Нагнулась и копает быстро, быстро. А тот куст... обходит. Только и покоя, пока спит...



ВЕЧЕРНИЙ ЧАС

Он не мог сесть, так гнало его что-то от стены к стене, — ходил и ходил по хате. Вещи и углы расплывались и утопали в вечерних сумерках, а образы давнего вставали все ярче и ярче.

— Это такая пора, когда дети выбегают из хат на выгон и играют чересчур весело и резво. В такую пору девушки не хотят гнать скотину домой, говорят, что, когда всходит вечерняя звезда, голос стелется по росе, — и поют, чтобы голоса их стлались. А зимой в этот час матери прядут лен и поют девичьи песни, но так грустно, будто тоскуют по своей молодости. Дети собираются, шепчутся на печи и засыпают без ужина. В сумерках есть что-то удивительное.

Он ходил и гладил рукою лоб, будто замыкал в голове все свои мысли, чтоб еще раз передумать их.

— Ба, я не знаю, что он теперь делает. Такой был славный товарищ. Хорошо помню, как мы однажды сидели у него в саду. Кажется, тогда он говорил о белых тучках. «Белая тучка, — говорил он, — с золотыми краями, плывет по небу, оставляет за собою белые лилии, а сама плывет дальше и все сеет, сеет по синему небу цветы... а через час нет ни тучки, ни лилий. Только голубое небо волнуется, как голубое море». Правда, он тогда был почему-то печальным.

Ходил, и глаза его становились добрыми, как у ребенка.

— Вот, я уже забыл конец. Приходится даже песни матери забывать. А не так давно я помнил... Сейчас... Я с Марийкой в сенокос пас овец в поле... Марийка вышивала на рукавах фасольки. Фасольки вышивала красным, хвостики синим, а края обметывала черным гарусом. Марийка была старшей, и за овцами приходилось бегать мне. Была у нас белоголовая овца, такая каверзная, ни одной нивки не пропустит. Я снял пояс, и мы спутали ее. Так было спокойнее. Я без пояса бегал под вербами, свистал и кричал на все поле. А потом Марийка позвала меня, и мы ели хлеб и завернутый в капустный лист творог.

Уже сидел в кресле, и воспоминания детства уносили его, как сон, на поля, где много цветов... И можно рвать их, рвать и рвать.

— Потом к нам пришла мать. Возвращалась с поля, носила работникам еду. Поила нас молоком, разглядывала Марийкино вышивание и учила ее никогда не брать трех ниток, а только две, иначе фасольки будут пузатыми. А мне говорила, чтоб я не скатывался с горы, а то рубаху изорву или живот расцарапаю. «Ты, парень, не брыкайся, как конь в поле, ишь распоясался, сиди возле Марийки, да за овцами смотрите». Я лежал возле матери и колотил ногами по траве, и мать сказала: «Ты ни одной минуты не можешь спокойно посидеть». В это время неподалеку от нас спустился анст. Мать взяла меня, посадила на колени и начала петь:

Ой, не коси, анст, сена,
Заросишься по колена,
Пускай сено чайка косит,
Она набок шапку носит.

Он силился вспомнить конец этой песни и не мог. Глаза стали печальными.

— Сейчас вспомню, сейчас... Мать пошла домой, а я до вечера бегал за аистом и припевал:

Ой, не коси, аист, сена...

Бегал по хате, как мальчик, который хочет перескочить канаву и каждый раз останавливается у края. Вслух повторял начало песни, а продолжения вспомнить не мог. Вздохнул, и круги у глаз стали темнее.

— Боже милый, я уже не могу связать этой нитки. Она рвалась еще тогда, когда мать мыла мне ноги и делала из старой рубахи чистые портянки, а отец чистил сапоги. Мы все плакали тогда: меня снаряжали в люди, и я ходил по свету, гнул, как лоза, ради куска хлеба и чувствовал на себе презрение сотен глаз.

Махнул рукою, словно хотел отогнать эти презрительные взгляды.

— После долгих лет я поехал к матери. Отца уже не было. Мать, сгорбленная, старая, с клюкой в руке, сидела на завалинке и грелась на солнце. Не узнала, было, а потом поздоровалась. «Сынок, наша Мария умерла. Я тебе не писала, чтобы ты не печалился. Когда умирала, все о тебе спрашивала. Мы ее обманывали, что ты приедешь. В день смерти она сказала, что ей хочется увидеть тебя хоть бы через окно или через порог... И умерла». Вот как рвалась эта нитка.

Бессознательно повторял песню матери:

Ой, не коси, аист, сена...

— Пошли мы с матерью на могилу. Едва дошла она... «Гляди, сынок, это могила Марии. Я уже развела на ней мяту, барвинок, крест велела покрасить, но вишню еще не посадила, осенью посажу». Сели мы у могилы, и мать рассказала мне о Марийкином горе. Муж злой, дети малые, нужда в хате. Ветер сдувал с вишен белый цвет. Лепестки

падали на могилу и на нас. Казалось, лепестки сливаются с белыми волосами матери, а роса падает с них на ее лицо. И я вспомнил, как мы с Марийкой пасли овец...

На стол упали горячие слезы.

— А потом мать умерла. Могила ее недалеко от Марийкиной. Цвет с материной вишенки падает на изголовье Марии, а с вишенки Марии — на изголовье матери. Был я раз там. Сидел между могил, и вспомнилась мне песня матери. Но вот забыл я ее конец... Посидел я там и пошел. Только вишневый цвет с могил летел за мною, будто сестра и мать просили меня не покидать их...

Долго еще ходил по хате и бессознательно шептал:

Ой, не коси, анст, сена,
Заросишься по колена,
Пускай сено чайка косит,
Она набок шапку носит...

МОЕ СЛОВО

Бледными губами вполголоса буду говорить вам о себе. Ни жалобы, ни печали, ни радости не будет в моем слове.

Я ушел от матери в белой рубахе, сам весь белый.

Над белой рубахой смеялись, — обижали меня и ранили.

Я ходил тихонько, как белый котенок.

Подлая трусость была в моей тихой походке, я это чувствовал, и мое детское сердце кровоточило.

Спал я по чужим углам, среди грязных, сплетенных распутством тел.

Листочек белой березы на мусоре.

Я сбросил материну рубаху. Мой детский мир и мужицкое прошлое остались позади.

Передо мною стоял новый мир, новый и черный.

Маленький нищий, я хватался за его полы, а он презрительно глядел на меня.

Я онемел от боли и молчал долго, долгие годы.

Слова мои невысказанные, плач невыплаканный, смех мой приглушенный!

Легли вы на меня, как ложатся в чужбине на могилу черные обломки разбитого креста.

Я нашел товарищей.

Они примирились с новым миром. Я говорил им о своем покинутом и новом мире, который мучает нас.

Сказали, что я лгу.

Я рвался, бессильно падал в грязь, но не уступал.

Сказали еще раз, что я лгун. И покинули меня.

Когда я плакал, мать рыдала:

— Живи один: господа не примут тебя. Не надо было покидать меня.

И остался я кусочком леса среди поля.

Я сидел среди полей.

Мои думы вились по длинным бороздам щедрой земли. Сосали землю и насыщали меня одиночеством.

И приносили соленый пот и тихие песни, что плыли за пахарем, за плугом и погонщиком. И утоляли мою жажду покоем, что реет над ярмами запряженных в плуг волов.

Видел я еще маленькие огоньки, и маленьких пастухов, и овец в поле.

Как буйный ветер, буду царить здесь и петь свою песню.

Я создал себе свой мир.

Справа от меня и синее поле, и черные борозды, и белый плуг, и песня, и соленый пот.

Слева — черная машина, что огненным ртом изрыгает проклятья.

А в моем сердце мой мир, шелком тканый, чистым серебром мереженный и осыпанный жемчугом.

Я в своем царстве.

Мир свой, как камень, буду украшать резьбою.

Слово свое буду оттачивать на кремне моей души и, смочив его в яде-зелье, пускать налево.

Слово свое буду разламывать на ясные солнечные лучики, обмакну его в каждый цветок и буду пускать направо.

А свой камень все буду украшать и украшать резьбою. И положу его на могилу, как мертвую красу.

Вишня в моем изголовье впитает в свой цвет все мои боли.

Живу и живу в своем мире.

Как безумный, брожу в облаках своего вымысла!

Раз за разом посылаю силы своей души, чтоб в далеких краях отыскали мое счастье.

По тихим водам минувшего плывут невода моих сердечных желаний, чтоб выловить все светлые минуты моей жизни.

Но рвутся невода и ничего не могут поймать.

Возвращаются ко мне растерзанными и пустыми, как мужики с поля.

И я, хмурый, дремлю на облаках.

А когда грянет гром, я вновь поднимаю голову.

И лечу, лечу на черных тучах...

Золотой стрелой пронзаю сверкающие высоты.

В мои черные волосы прячутся звезды, как в черное облако.

Студеные тучи от моего взгляда падают на землю теплым дождем.

Но к солнцу я подняться не могу.

И падаю с высоты в долину.

Как старый солдат плетется на деревянных ногах, так плетусь и я.

Но крылья заживают, и я опять лечу к солнцу, к счастью. Вновь прорезаю небесный свод и падаю.

Я был счастливым.

Ребенком глядел я в глаза матери — в них тихо проплывали чистейшие облачка счастья, — тогда я был счастливым.

Теперь глаза эти закрыты ладонью смерти.

А я ищу счастья под небом и падаю...

КАМЕННЫЙ КРЕСТ

I

Сколько помнили Ивана Дедуху в селе хозяином, у него был только один конь и малый возок с дубовым дышлом. Коня он запрягал в ременные постромки, на себя надевал веревочные и левой рукой правил конем.

Когда тянули они снопы с поля или навоз на поле, одинаково напрягались у них жилы; в гору одинаково, как струны, натягивались постромки, а с горы одинаково волочились по земле.

На гору конь карабкался как по льду, а Ивана будто палкой по лбу треснул кто: так сильно вздувалась у него жила на лбу. А когда они шли с горы, казалось, будто Иван правой рукой за какую-то большую провинность хочет взбросить на себя коня. Напряженную левую руку его, словно цепь из синей стали, обвивала сеть багровых жил.

Не раз шел Иван полевой дорогой на заре, до восхода солнца. Постромок не надевал, шел справа, как бы придерживая дышло подмышкой. И лошадь и он после ночного отдыха шли бодро. А когда им приходилось съезжать с бугра, они бежали, оставляя за собою следы колес, копыт и широченных пяток Ивана. Придорожные травы и стебли раскачивались во все стороны, наклонялись

за возком и роняли на следы росу. Порой на разбеге с бугра Иван начинал упираться ногами и сдерживал коня. Садился у дороги, брал в руки ногу и слюнявил ее, стараясь найти место, куда вонзилась колючка.

— Да эту ногу тяпкой надо скрести, а не слюной промывать, — с сердцем говорил он.

— Дед Иван, кнутом бы вашего скакуна, пускай бежит, чтоб даром овса не ел, — смеялись над Иваном соседи, видевшие его в упряжке. Но Иван давно привык к таким насмешкам и спокойно продолжал вытаскивать занозу. А если она не давалась, кулаком загонял ее глубже и, вставая, говорил:

— Не бойсь, выгниешь и сама выпадешь, а нянчиться с тобой у меня нет времени.

В селе Ивана звали Переломленным. У него в пояснице был какой-то изъян, и ходил он всегда согнувшись, так, будто железные крюки тянули его туловище к ногам. Это ветром так прохватило его.

Когда вернулся он из солдатчины, не застал ни отца, ни матери, — только хатенку полуразвалившуюся. Имущества оставил ему отец — кусок поля на бугре, самую высокую и самую плохую во всем селе землю. На этом бугре бабы брали песок, и он, как страшный великан, глядел в небо широко разинутыми ямами и пещерами. Никто не пахал его, и меж на нем не было. Только Иван начал копать и сеять на нем свою часть. Вдвоем с конем свозил навоз к бугру, а наверх таскал его в мешке. На поля, что лежали ниже, порою слетал с бугра его громкий крик:

— Эх, как грохну тебя, на нитки разлетишься, до того ты тяжелый!

Но, должно быть, ни разу не грохнул, — жаль было мешка, — и осторожно спускал его с плеч на землю. Раз вечером рассказал жене и детям такой случай:

— Солнце жарит, нет, не жарит, а прямо огнем сыплет, а я ползу на четвереньках с навозом наверх, шкура с колен слезает. Пот из-под каждого волоска брызгает, и так у меня во рту солоно, даже горько. Еле взобрался на бугор. А там дунул на меня ветерок, но такой легонький-легонький. И вот, подите, как начало меня через минуту в пояснице ножами чикать, думал, что пропаду!

После этого случая Иван начал ходить согнутым в поясе, и люди прозвали его Переломленным.

Однако бугор хотя и переломил его, но пользу давал хорошую. Иван вбивал на нем колья, таскал на него куски твердого дерна и обкладывал поле, чтоб осенние и весенние дожди не смывали навоз и не уносили его в овраги. Жизнь свою положил на этом бугре.

Чем больше старился, тем тяжелее было ему, переломленному, сходить с бугра.

— Такой собачий бугор, стремглав в долину толкает...

Не раз, когда заходящее солнце заставляло Ивана на бугре, его тень падала вместе с тенью бугра далеко на поля — тень согнувшегося в пояснице великана. Он показывал на нее и говорил бугру:

— Это ты меня, голубчик, согнул в дугу. Но пока меня ноги носят, ты должен родить хлеб.

На других полосках, купленных Иваном на принесенные из солдатчины деньги, работали сыновья и жена. Сам он больше всего хлопотал на бугре.

Был Иван известен еще тем, что в церковь ходил один раз в году, на пасху, и тем, что муштровал кур. Он так их вышколил, что ни одна не осмеливалась разгребать во дворе навоз. Если какая царапнет лапкой, смерть настигала ее под лопатой или палкой. Иваниха крестом распластывалась — не помогало.

И еще тем примечателен был Иван, что никогда не ел на столе, всегда на скамейке.

— Был я батраком, потом десять лет отбыл в солдатах, а стола не знал, да и невкусна мне еда за ним.

Вот какой был Иван чудной нравом и работой.

II

Гостей у Ивана была полна хата — хозяева и хозяйки. Иван продал все, что имел: сыновья с женой решили ехать в Канаду, и он, старый, должен был, в конце концов, уступить им.

Пригласил Иван все село.

Стоял перед гостями, держал в правой руке рюмку водки и, будто окаменев, слова не мог выговорить.

— Спасибо, вам, спасибо, хозяева и хозяйки, что вы считали меня хозяином, а мою жену хозяйкой...

Договорить не мог и пить не мог, — тупо глядел перед собой и качал головою, будто молитву читал и каждое слово подтверждал кивком.

Так иногда глубинная волна выкатит из воды большой камень, положит его, и он лежит на берегу, тяжелый, бездушный. Солнце откальвает от него кусочки ила и зажигает на нем маленькие фосфорические звезды. Мигает этот камень мертвым отражением восходов и закатов, каменными глазами глядит на живую воду и тоскует, что она не давит его, как давила сотни лет. Глядит с берега на воду, как на потерянное счастье.

Так Иван глядел на людей. Тряхнул седыми волосами, как гривой, выкованной из стальных ниток, и продолжал:

— Да, спасибо вам от сердца, и пусть бог даст вам всего, чего вы ждете от него. Дай вам, боже, здоровья, дед Михайло...

Подавал Михайлу рюмку, и они поцеловали друг другу руки.

— Кум Иван, дай вам боже еще пожить на этом свете, пускай господь милосердный счастливо доведет вас до места и поможет милостью своей опять стать хозяином!

— Если б бог привел... Хозяева, а прошу, а доставайте, кушайте... Думал я, что усажу вас за стол, когда придете на свадьбу сына, а все иначе вышло. Такое время настало... То, о чем наши деды и отцы не знали, мы должны знать. Господня воля! Да угощайтесь, хозяева, и извините за все...

Взял рюмку водки и подошел к бабам, — те сидели на другом конце стола.

— Тимофеихо, кума, я хочу за ваше здоровье выпить. Гляжу на вас, и мне молодые годы вспоминаются. Где они, где? То-то вы были сильной девкой, исправной. Я не одну ночку думал о вас, в танце вы так ровно ходили, как челнок. Ба, где, кума, эти лета наши? А ну-ка выпейте и извиняйте, что на старости о танцах вспомнил... А прошу, прошу...

Глянул на свою плачущую старуху и вынул из-за пазухи платок:

— Старуха, эй, на, возьми да хорошенько утрись, чтоб я здесь никаких слез не видел! Заботься о гостях, а поплакать успеешь, еще так наплачешься, что глаза вытекут.

Качая головой, отошел к хозяевам.

— Что-то сказал бы я вам, да уж лучше помолчу. Чту иконы в хате и вас, любезные мои. Но не дай бог никому жить женским умом. Вот видите, плачется, а на кого плачется? На меня? Хозяйка моя, на меня? Разве я тебя выкорчевываю на старости из твоей хаты? Молчи, не хлипай, а то оборву твои седые косы, и пойдешь ты в эту Америку будто стриженная.

— Кум Иван, оставьте в покое жену, она не

враг вам и детям вашим, ей жалко свой род и свое село.

— Тимофеихо, кума, раз не знаете всего, то не говорите. Ей жалко, а я туда вприпрыжку иду?..

Он так заскрежетал зубами, будто у него во рту были жернова, погрозил жене кулаком и, как пестом, стал бить им в свою грудь:

— Возьмите да всадите мне топор сюда, в печенки, может, желчь треснет, а то не выдержу. Люди... Такая печаль, такая тоска, что не знаю, что с собою делать.

III

— Прошу, а прошу, хозяева, да берите все без церемонии, и простите нас, мы ведь уже странники. На меня, старика, не удивляйтесь, что я немного на жену нападаю, это не зря, ой, не зря. Этого никогда не случилось бы, если б не она с сыновьями. Сыны, видите ли, грамотные, как достали где-то какое-то письмо, какую-то мапу¹ да как подсыпались к моей старухе и уж пилили, пилили ее, пока не перепилили. Два года в хате ни о чем больше и разговоров не было — все Канада да Канада. А как допекли меня, как увидал я, что они меня всю жизнь до самой старости будут грызть, если я не пойду с ними, — вот и продал я все до крошки. Сыновья не хотят быть батраками после меня и говорят: «Ты наш отец, ну и веди нас на землю, и дай нам хлеба, потому, когда разделишь нас, нам нечем будет жить». Пускай бог поможет им есть тот хлеб, а мне одиноково, где умирать. Но, хозяева, куда я, переломленный, пойду? Я сработался, все мое тело — мозоль, а кости такие дряхлые, что пока их соберешь утром, десять раз ойкнешь.

¹ М а п а — географическая карта.

— Об этом, Иван, что говорить. Не забивайте головы печалью. Может, вы нам дорогу укажете, и мы все за вами поедем. Из-за нашего края не стоит печаль на сердце брать. Наша земля уж не может столько народу прокормить и столько беды вынести. Мужик не может, земля не может, — оба не могут. И саранчи нет, и пшеницы нет. А подати растут: если ты платил гульден — теперь пять; если ты ел сало — теперь картошку. Ой, выщелочили нас, а в руки так взяли, что никто не может нас вырвать, — надо только убегать. Но когда-нибудь на этой земле поднимется большая резня. Так что не из-за чего вам печалиться.

— Спасибо вам за это слово, но не принимаю его. Верно, народ порежется. Разве бог не гневается на тех, кто торгует землей? Теперь никому не надо земли, — давай только деньги да векселя. Теперь молодые хозяева умными стали. Это такие пожарные, что за землю не сгорят. А поглядите вы на эту старую скрипку, где уж ей торговлей заниматься? Это ж трухлявая верба, ткни пальцем — и упадет. И вы думаете, что она доедет до места? Упадет где-нибудь в канаву, и разорвут ее собаки, а нас погонят дальше, оглянуться на нее не дадут. Разве таких людей бог благословит? Старуха, поди-ка сюда!..

Иваниха, старенькая и сухонькая, подошла.

— Катерина, что ты, бедная, головой своей наделала? Где я тебя похороню? Или тебя рыба съест? Да ведь у тебя порядочной рыбе и на один зуб нечего взять. Смотрите!

Натянул кожу на жениной руке и показывал людям:

— Только кожа да кости. Куда ей, хозяйсва, итти с печки? Была ты порядочной хозяйкой, тяжело работала, не ленилась, а на старости собираешься в далекую дорогу. Вон видишь, где твоя дорога и где твоя Канада? Там...

И показал через окно на кладбище.

— Захотела идти в эту Канаду, вот и пойдем по свету и разлетимся на старости, как листья по полю. Бог знает, что с нами будет... И я хочу перед нашими людьми простить тебе все. Мы с тобою венец брали перед ними, перед ними я хочу и проститься с тобою. Может, тебя бросят в море так, что я и не увижу, а может, меня бросят, и ты не увидишь. Так прости мне, старая, что не раз допекал тебя, что, может, тебя когда обидел, прости мне: и первый раз, и второй раз, и третий раз прости.

Поцеловались. Старуха упала Ивану на руки, и он говорил:

— Эх, везу тебя, беднягу, в далекую могилу.

Этих слов уже никто не слышал: от стола, где сидели бабы, как ветер повеял, — набежал плач и склонил головы мужиков на груди.

IV

— А теперь ступай, старая, к бабам, да угощай всех, да напейся, чтоб я тебя хоть один раз на веку пьяной увидел.

А к вам, хозяйева, у меня две просьбы. Может, сыновья пришлют весть, что нас со старухой уже нет. Прошу всех — отслужите по нас обедню, да чтоб, как сегодня, сошлись вы на обед и прочитали молитву за нас. Может, бог грехов сбавит. Деньги я оставляю Якову: он молодой и справедливый человек, не утаит стариковский крейцер.

— Закажем обедню, закажем и молитву за вас прочитаем.

Иван задумался. На его лице проступила тень стыда.

— Вы не удивляйтесь старику и не смейтесь над ним. Мне и самому стыдно признаваться, но, ка-

жется мне, грешно будет, если не скажу вам об этом... Вы знаете, я на своем бугре поставил каменный крестик. Тяжело было везти его, возносить на бугор, но я поставил. Такой тяжелый, что бугор не сбросит его, должен будет держать его на себе, как держал меня. Захотелось мне маленькую память оставить после себя...

Сложил ладони трубкой и прижал их к губам.

— Я так тоскую об этом бугре, как ребенок без материнской груди. Я на нем весь свой век провел и окалечился. Если б можно было, я его за пазуху спрятал бы и взял с собою. Тосковать буду по каждой крошке в селе, по самому маленькому ребенку, но тоски по этому бугру никогда не сбуду.

Глаза его замерцали скорбью, а лицо задрожало, как черная борозда под солнцем:

— Прошлой ночью лежу в риге и думаю: господи милосердный, чем я так тяжело согрешил, что гонишь меня за какие-то моря? Я всю жизнь работал, работал и работал. Не раз, бывало, как кончится день, я упаду на ивиу и горько молюсь: господи, не оставь меня без куска черного хлеба, а я все буду работать, разве уж не смогу ни рукой, ни ногой двинуть...

Потом такая тоска на меня напала, что я колени грыз, волосы рвал на себе и катался по соломе, как скотина. И тут нечистый прицепился ко мне. Не знаю, когда и как, но очутился я под грушей с веревкой. Еще минута — и удавился бы. Но господь милосердный знает, что делает. Вспомнил я о своем кресте, и скверное отошло. Ой, как побежал я, как побежал на свой бугор! Через минуту я уже сидел под крестом. Посидел, посидел, и стало мне легче.

Глядите, стою перед вами, говорю с вами, а этот бугор не выходит из головы. Все вижу его, умирать буду и тогда буду видеть его, все забуду,

а его не забуду. Песни знал когда-то — на нем забыл их, силу имел — на нем лишился ее...

Слеза катилась по лицу, как жемчужина по скале:

— Я вас прошу, хозяева, чтобы вы, когда будете на пасхальной неделе поле святить, не обходили моего бугра. Кто помоложе, пускай взбежит на него и покропит крест свяченой водицей, ведь сам поп на бугор не полезет. Слезно прошу я вас, чтоб вы моего креста никогда не обходили. Буду за вас и на том свете бога молить, только выполните дедову волю.

Казалось, он готов кланяться гостям в ноги, казалось, он хочет добрыми серыми глазами навсегда запечатлеть в их сердцах свою просьбу.

— Иван, оставьте вы тоску, отбросьте ее прочь. Мы все будем вспоминать вас. Вы были порядочным человеком, ни на кого не лезли нахрапом, чужого поля не запахивали и не засевали, чужого зернышка не тронули. Ой, нет! Будут вас люди вспоминать и мимо креста вашего в святую неделю не пройдут...

Так Михайло утешал Ивана.

V

— Вот, хозяева, я сказал вам все, а теперь все, кто меня любит, будут со мною пить. Солнышко уже над кладбищем, а вы еще рюмки водки со мной не выпили. Пока я в своей хате и гости у меня за столом, буду пить, и все, кто меня любит, будут пить со мной.

Началась попойка, та самая попойка, что взрослых мужиков превращает в одурелых парней. Вскоре пьяный Иван велел позвать музыкантов, чтоб играли молодежи, заполнившей весь двор.

— Эй, должны так танцевать, чтоб земля гудела, чтоб ни одной травинки на току не осталось.

В хате все пили, все говорили, и никто никого не слушал. Беседа шла сама собой, — всем надо было говорить, обязательно говорить, все высказать, хотя бы даже на ветер.

— Как, бывало, вычищу его, он весь чистый, там, где черное, будто серебром по черному побрызгано, а где белое, там будто масло снегом присыпано. Кони у меня были в порядке, цесарь мог ездить на них. А деньги имел, ой, имел, имел...

— Если б я очутился среди такой пустыни, где только бог да я, чтоб я ходил, как дикий зверь, и не видел ни этих панов, ни попов, — вот тогда можно было б сказать, что я хозяин. А эта земля пусть провалится, пусть сейчас провалится, я жалеть не буду. Чего ради? Били да истязали отцов, в ярма запрягали, а нам не дают куска хлеба проглотить. Э-э, если б сделать по-моему...

— Еще не было такого сборщика, который сумел бы взять с него что-нибудь за подати, ой, нет. Был чех, был немец, был поляк, г..., извините, взяли. Но как стал сборщиком мазур, так сразу нашел у него тулупчик под вишней. Говорю вам, мазур — это беда, глаза ему выжги, и не будет за него никакого греха...

Много слов было сказано, но валились они в разные стороны, как подгнившие деревья в старом лесу.

В шум, крики и вопли, в жалостливую веселость скрипки врзалась песня Ивана и старого Михайла. Песня эта нередко слышна на свадьбах, когда старые селяне разохотятся и заведут стародавние песни. Слова песни идут через старое горло туго, с трудом, словно у стариков не только на руках, но и в горле выросли мозоли. Катятся слова этих песен, как желтые осенние листья, — ветер гонит их по мерзлой земле, а они то и дело цеп-

ляются за бугорки, за ямки и дрожат порванными краями, как перед смертью.

Так Иван и Михайло пели про молодые годы, которые унеслись, умчались вдаль и не хотят возвращаться к ним даже в гости.

Когда они брали какую-нибудь высокую ноту, то стискивали друг другу руки так крепко, что суставы хрустели. А когда выводили жалостливые места, то склонялись головой к голове и исходили печалью. Обнимались, целовались, били кулаками в груди, стучали по столу и такую тоску будили в себе своими ржавыми голосами, что под конец ни одного слова не могли вымолвить, кроме:

— Ой, Иванко, братик...

— Ой, Михайло, дружок...

VI

— Отец, слышь, пора итти на железную дорогу, а ты все поешь...

Иван открыл глаза, но так чудно, что сын побледнел и подался назад, а он положил голову на ладони и долго о чем-то думал. Затем встал из-за стола, подошел к жене и взял ее за рукав.

— Старуха, эй, марш, раз, два, три! Иди, оденемся по-пански и пойдем пановать.

Вышли вдвоем.

Когда вернулись, все, кто был в хате, зарыдали. Будто туча, нависшая над селом, прорвалась, будто людское горе прорвало на Дунае плотину, — такой был плач. Бабы заломили руки и так сплетенными держали их над Иванихой, чтоб сверху что-либо не упало и сразу не раздавило ее. А Михайло взял Ивана за грудь, крепко тряс его и верезжал:

— Человече, если ты хозяин, то сбрось с себя это рванье, а то рожу искрошу, как...

Иван не глядел в его сторону, — обнял жену за шею и пустился с нею в пляс.

— Польку, польку мне играйте, по-пански, имею деньги...

Люди обомлели, а Иван дергал жену так, будто решил живой не выпускать ее из рук.

Вбежали сыновья и насильно вынесли обоих из хаты.

Во дворе Иван опять танцевал какую-то польку, а Иваниха обхватила руками порог и причитала:

— Это я тебя истопала, это я тебя выгрызла своими ногами...

И все показывала рукою, как глубоки следы ее ног на пороге.

VII

Плетни на дороге трещали и падали, — все сельчане провожали Ивана. Он шел со старухой, сгорбленный, в дешевой серой одежонке, и все танцевал польку.

А когда толпа остановилась против креста, поставленного им на бугре, он немного пришел в себя и показал старухе на крест:

— Видишь, старуха, наш крестик? Там вырезано и твое имя. Не бойся: есть и мое и твое.

СУД

I

Ковалюк поднял орчик¹ кверху и сказал музыкантам:

— Играйте так, как надо, эта свадьба будет славной на всю Украину.., и в Коломые, и в Станиславове...

— Этому уже не нужна музыка, но есть еще двое, они хотят гулять.

Он указал на Федька Мельника. Тот лежал на снегу с разбитой головой. Возле него сидела жена, держала в руках его новую шапку и спрашивала:

— Ну, скажи, что теперь делать? Что детям сказать?

И еще что-то говорила ему, будто давала наказ на тот свет.

А Дмитро Золотой ходил у ворот и говорил стоявшей на улице толпе:

— Ни одна душа пусть не смеет входить сюда, иначе от моей руки сразу заснет... Вам говорю.

— Кого бьют?

— Богачей.

— А кто бьет?

¹ Орчик — поперечная палка для привязывания постромок к запряжке, валец.

— Свадьба.

— А Федька уже убили?

— Он уже на том свете.

— Ему, значит, смерть, а кому тюрьма?

На селе тревожно загудел колокол.

— Сейчас общество сбежится и не даст бить.

— Даст, даст, будет вот тут стоять, как стоите вы, — сказал Золотой.

У порога началась новая схватка. Михайло Печенюк упирался ногами и руками в дверные косяки, и ни Петр Синица, ни два Золотых — Иван и Каленик — не могли вытащить его во двор.

— Вы голодранцы голодные, а я крепкий, я каждый день мясо ем, а вы болтушку незабеленную.

— Будешь теперь сырую землю грызть.

Из сеней вырывался плач женщин.

— Не говори с ними так, Михайло, не говори, ты лучше проси их, очень проси, — говорила Печенюку жена.

— Болтай, глупая баба, здесь не до просьб, здесь смерть.

Пока они спорили так, Петрик Синица схватил зубами палец Печенюка и в минуту вытянул его во двор.

— Ого, Михайле теперь амнь!

— Михайлиха, садись мужу на голову: голова самое главное...

— Это ты советуешь? Вот я тебе посоветую палкой.

— Кровь из него хлещет, как из свиньи, да такая красная, здоровая кровь...

— Глядите, крестится. Бьют, не дают молитву прочитать.

— Михайлиха уже дает ему свечку, только незажженную.

— Ну, что с того, что он здоровый? Уже глина — и конец.

— А жена не плачет, утомилась очень.

Из хаты выбежала толпа женщин, — среди них был Касьян. Золотые и Синница кинулись за ними.

— Не спрячешься, богатей, под бабьими подолами.

Женщины окружили Касьяна.

— Не давайте меня!.. Не давайте...

— Касьян боится, а его крепче всех надо проучить. Он среди богачей самый въедливый.

— Боится, не то что Михайло, тот не боялся.

— Глядите, глядите, как бабы оплевыгивают Золотых. Беда...

— Взяли Петрика и все легли на него.

— Не дадут-таки...

— А вы чего из-за ворот вмешиваетесь? Умеете только своих баб бить, а как дошло до дела, стоите в стороне и окулите, как щенки.

Так сказала толпе одна из женщин, которые защищали Касьяна.

— А вы, староста, чего не идете порядок наводить? Глядите, бабы вместо вас наводят порядок.

— Какая ты умная: иди, староста, издыхай, потому что лодыри сговорились богачей бить.

Совсем уже рассвело. Хаты стояли на белом снегу стаей черных больших птиц. Лес спокойно шумел. А колокол все еще гудел.

Из толпы вышла жена Ивана Золотого, взяла окровавленного мужа за рукав и сказала:

— Слушай, да погляди ты на людей, на село, на лес и опомнись. Что ты наделал? Ведь это люди — не скотина.

За нею вышла жена Каленика:

— Ты иди, бедный, прямо в тюрьму и в хату не заходи, я с детьми уйду. Не приходи.

Музыканты перестали играть, а Ковалюк все стоял с орчиком и не знал, что с ним делать. Солнце глянуло половиной золотого глаза.

Золотые — все трое — бросили колья, мотыги и пошли в лес. Ковалюк начал плакать, а Петрик Синица двинулся к хате, но на пороге упал, и на губах его показалась пена. Толпа зашевелилась и начала поднимать убитых.

II

Судить убийц собрались в хате Онуфрия Мельника. Богачи не имели права присутствовать на суде: судили только бедные. Онуфрий сам назначил и судей, и прокурора, и защитника. Сам сидел за столом и говорил:

— Село отравлено, люди друг друга боятся, в церкви каждое воскресенье только и разговора, что о бедных. По селу рыскают жандармы, бубенцы звенят, приезжают комиссии, разрывают могилы, режут убитых, а нам, бедным, ниоткуда ни помощи, ни доброго слова. Давайте сами их судить и, если увидим, что они виноваты, будем наказывать их.

Так говорил Онуфрий к бедным. Те собрались чуть ли не со всего села, — заняли хату, печь, постель, сени и двор.

— А если староста придет и захочет разгонять, не пускайте его, а будет лезть, дайте ему сколько-нибудь затрещин, пускай удирает. А теперь расскажите нам, пан прокурор, акт обвинения.

Со скамьи поднялся Яков Дедык и начал:

— Иван Зуб, бедный человек, справлял дочерину свадьбу. У бедного знаете как? Он всегда рад, когда к нему приходит богач. Придет богач, иконы становятся светлее, потому есть кому сидеть под ними. Пришли одни бедные, но Зуб упросил трех богачей: Федьку Мельника, Михайлу Печенюка и Касьяна Крапивку. «А дай бог вам здоровья, спасибо, что вошли в мою хату, моя свадьба будет еще веселее», — говорит Зуб и все к богачам

льнет, а бедные согнулись возле порога и слушают. «А прошу, будьте ласковы, доставайте, кушайте». И все к богачам. Богачи пьют, бедных все дальше от икон к постели оттирают. Зуб забыл о бедных, все за богачами ухаживает. Это первый пункт. Но Петрик Синица говорит ему:

«Ты, Зуб, ты, старина, должно быть, забыл, что у тебя есть еще другие гости, кроме этих трех?»

А Зуб был уже навеселе и говорит:

«Синичка, ты не указывай мне в моей хате. Как я хочу, так и будет».

«Ой, не будет так. Я пришел на свадьбу, как другие, я принес такие же подарки, как другие, и имею право на такую же честь, как другие».

Говорил Синица, а бедные наострили уши, им это слово мило, как сладкий мед. На этом пока и кончилось все. Начали обед подавать. Перед богачами сало да мясо, а перед бедными мяса крошки. Фыркают бедные, едят и не едят. А богачи даже локти засалили.

Взял Иван Золотой из-под носа богачей бутылку с водкой и говорит:

«Выпьем, братья, водки, раз есть не дают».

«Гей, Золотой, а перед тобою что стоит, не дар божий?» — спрашивает Зуб.

«А почему перед богачами вон сколько дара божьего, а перед нами немножко?»

Богачи только краснеют, только поглядывают, но молчат. Кончился обед, начали музыканты играть. Танцуют. Взял Печенюк Касьянику на танец. Танцует и все толкается. На этот раз Петр Синица не выдержал да — хлоп Михайлу Печенюка по лицу, а Михайло ни два, ни три — хлоп Петрика.

«Эй, перестаньте играть!» — кричит Зуб.

А Касьян Крапивка и говорит Зубу:

«Знаете что, Зуб, нате вам пятьдесят левов, оплачиваю всю вашу свадьбу, только выметите весь этот сор из хаты».

Это второй пункт. Дошло до того, что должна чья-нибудь жизнь кончиться. Эх, господи! Каленик Золотой как ахнет Касьяна по лицу — полная чашка крови набежала. А Михайло как хватит Каленика за кожу на затылке, — вырвал все волосы, осталось голое место.

«А ну, богачи, или сейчас же убирайтесь, или останутся от вас одни клочья!»

Если бы вы слышали!.. И началась драка. Те, кто побоязливей, убежали, остались три богача, пять бедных да женщины. Женщины все остались, знают, что в драке их не тронут. Первым вывели Федьку Мельника; вывели его Ковалюк, Петрик и Иван. Ковалюк раз трахнул его по голове орчиком, череп хрустнул, и Федька уснул на месте, как цыпленок.

А Печенюка Михайлу не так легко было взять. Мужчина дюжий, как медведь, и, знаете, небоязливый. С ним долго возились в хате: их четверо, а он один. Правда, помогали ему женщины, но что они могут? Свалили его в хате — он сбросил с себя всех четверых, как галушки; свалили в сених — опять не дался; приволокли к двери — за косяки уцепился. Но Петрик Синица взял его палец в зубы и вывел, а когда вывел, его убили кольями. Убили Петр, Каленик да Иван. Хотели еще Касьяна убить, но одно, что очень просил женщин и те держали его под юбками, а второе, что наступил день и люди опамятавались.

Убивали: Иван, Каленик да Дмитро Золотые, и Петрик Синица, и Никифор Ковалюк.

— Это прокурор сказал обвинение, а теперь будем слушать обвиняемых, — сказал Онуфрий.

— Иван Золотой.

— Здесь.

— Ты виноват в том, что убил Михайлу и Федьку Мельника?

— Нет, не виноват.

- А кто виноват?
- Не мы виноваты, а богачи.
- Как богачи?
- А так, они хотели выгнать нас со свадьбы.
- Хотели, а вы не дались и выгнали их на тот свет?
- Чего ради вы меня спрашиваете?
- Иван, молчи, гадина, не огрызайся, а то сейчас же получишь... Говори, чем ты убил?
- Здесь Онуфрию стали помогать все:
- Ты, Золотой, говори все по правде, а то сейчас же получишь палок, — говорили хозяева из сеней.
- Я, ей-богу, только один раз ударил.
- Чем?
- Мотыгой.
- По чем ударил?
- По плечам.
- Ну, а Каленик?
- Я не знаю.
- Если не знаешь, садись...
- Каленик Золотой.
- Я самый.
- Ты убил Михайлу?
- Его убило его богатство.
- Только не мудри, Каленик.
- Какая тут мудрость? Пьяный я был, свадьба была, музыка играла, а богачи хотели нас выгнать, и мы решили побить их.
- Ну, хорошо, побили, но кто убил?
- Не помню.
- Какая у тебя короткая память.
- Чем ты бил?
- Что было в руках.
- Онуфрий уже не спрашивал, только махнул рукой парням, те взяли Каленика.
- Дайте ему пятнадцать палок, тогда он заговорит.

И дознание пошло дальше. Собравшиеся хотели немедленно наказывать виноватых, но Онуфрий сдерживал их и продолжал опрос. Когда обвиняемые не хотели отвечать Онуфрию, все, кто стоял в сенях, кричали:

— Они убили! Пускай каются!..

...И вытаскивали одного за другим и передавали по рукам все дальше и дальше. А руки эти — их много — яростно хватали их и оставляли за собой вопли женщин...

ЗЕМЛЯ

Посвящаю памяти моего отца.

Как-то, с заходом солнца, Семен возвратился домой и увидел на своем дворе пять кованых телег, набитых добром, а на добре колыбель. Лошади были хорошие. На завалинке сидели старые и молодые — все незнакомые. Семен, старый и бо-сой, с башмаками через плечо, сказал им:

— Славайсу, добрые люди. Откуда вы и как вас зовут?

— Мы — буковинские, война выгнала нас из хаты; я — Данило, а это моя жена — Мария, старуха уже; а это две мои невестки с детьми и дочь с детьми. Хотим переночевать у вас, если пустите...

— Ночуйте, будьте гостями. Присяду к вам, поговорим, а жена пускай ужин варит. Она у меня вторая, молодая и проворная, когда захочет...

— А у меня первая, пятьдесят лет со мною, а теперь вот рехнулась. Схороню ее где-нибудь на перепутье, разум где-то под колесами телеги потеряла. Пока с телеги видела наше село, плакала и с воза убегала, невестки догоняли ее, а когда село скрылось из глаз, онемела. Сидит, вот, немая среди внуков...

— Дядя Данило, не удивляйтесь. Она оставила свои слова на окнах да на золотых образах в

своей хате; там они, как пташечки, бьются в порожней хате, будто сироты, молитвы щебечут по углам, и старуха без них будет немой... Идите вы в хату да перед святым Николаем прочитайте молитву, может, народится в ней слово...

Оба старика подвели старуху к иконам и громко молились, — старуха молчала.

— Она потеряла свои слова возле своих святых, там и найдет их.

Вернулись на завалинку.

— Не мое дело спрашивать, но почему вы на кованых телегах, на вороных конях, с маленькими детьми покинули свою землю?

— Дядя Семен, на вороных лошадей, на кованые телеги посадил я детей, чтоб не оставлять их на поругание. Наказание божье сошло на нас за грехи всего мира. И от тяжелой руки господи милосердного я пробую увезти свою кровь в крещеный мир...

— Кличут ужинать, Данило, а вы своей печалью неразумной не гневите бога...

— Ешьте, птахи, улетаете вы неведомо куда, а мы, Данило, вдвоем выпьем горькой, и, может, наши старые плечи поднимутся от земли к небу...

Ужин никого не радовал; старики вдвоем пили водку, но пищи в рот не брали.

— Идите, дети, спать с маленькими. Пусть вам бог ясные сны пошлет, а мы, старики, еще посидим.

— Данило, если вы не рассердитесь, я вам одно слово скажу.

— Я разум и гнев на своем дворе оставил. Можете убить меня, я, видите, старая птица и без гнезда.

— Пусть старая птица старого гнезда не бросает, потому что нового завести она не сможет

уже. Будет лучше, если ее голова окостенеет в старом гнезде, чем во рву при чужой дороге.

— Правда, Семен, правда, за это слово спасибо...

— Ну, куда вы собрались? За господами? Для них царская казна открыта, а для вас она заперта. Попадете к чужим людям, в большие каменные дома, судьба раскидает вас среди холодных камней, и вам будет только сниться наша прекрасная земля, а оцепеневшие руки будут в беспамятстве сеять на камнях, на смех гуляющим господам яровую пшеницу. Бог не примет вас к себе с тех камней, но встретит вас у своих ворот, если убьют вас на вашей земле. Возвращайтесь на свою мягкую землю, там благословит вас бог даже на виселице...

— Грешен я, Семенок, грешен перед богом и перед вами. У меня поля, как хорошо кормленные овцы, черные, кудрявые. Я поверну телеги до восхода солнца, чтоб бога не гневить...

— Наше дело у земли: упустишь ее — пропадешь, держишь ее — она всю силу из тебя выворачивает, ладонями душу вычерпывает, а ты припадаешь к ней, горбишься, она из тебя жилы выматывает, но зато у тебя и отары, и стада, и стога. Она за твою силу дает тебе полную хату детей и внуков, и они смеются, как серебряные звоночки, и краснеют, как калина. Не ходи, Данило, с господами, не ищи царя, потому что тебе царя не нужно; всегда кто-нибудь придет к мужику, чтоб подати брать...

— За ваше слово, Семен, пускай вам бог даст всего наилучшего; я возвращаюсь домой, пускай будет божья воля...

Старуха Мария вдруг заговорила:

— Едем, Данило, домой, едем...

— Вот пес-баба, как вышло по ее, сразу заговорила!

— А теперь выпьем на здоровье. Дай боже,

чтобы мы лихую годину пережили, а когда помрем,
чтоб наши кости истлевали в нашей земле.

Пили старики и старуха с ними... И пели. Старуха сидела в середине, крепко обнимала стариков и выводила:

Только моя милая,
Как голубка сизая,
Спать не ложится,
Ребенка колышет,
Листья ниткой вышивает,
С буйным ветром говорит.

Так пели они до зари, а на заре кованые телеги заклекотали колесами — Данило заворачивал их к дому.

А когда всходило солнце, старики прощались, целовали друг другу черные руки. Красное солнце через межи простерло их тени далеко-далеко по земле.

МАРИЯ

Посвящаю памяти Ивана Франко.

Мария сидела на завалинке и шептала:

— Лучше б девки никогда на свет не родились: как собаки, валяются, одни в ямы спрятаны, другие с казаками в кабаках. И зачем они родятся на свет божий? И глупое, и пустое, да еще с венком на голове.

Когда в селе закричали, что идут свежие казаки, она спрятала двух дочек в потайник погреба.

— Чего эти казаки хотят? Чего они ищут?

Ее риги пусты, амбар без двери, хата голая, а замки от сундуков ржавеют под ногами. Не хотела в хате их ждать, — облуплена, ободрана ее хата.

Сидела на завалинке и вспоминала прошлое. Прислонилась головой к стене; седые волосы переливались на солнце, как чепец из блестящего лемеха, черные глаза поднимали кверху брови; лоб морщился, убегал под железный чепец от этих больших несчастных глаз, а они искали на дне души сокровищ прожитой жизни.

Далеко под горами ревели пушки, пылали села, черный дым змеем расстилался по синему небу и искал в облаках щели, чтоб обмыться в синеве от крови и пепла.

За ее плечами после каждого пушечного выстрела дрожали окна. А, может быть, там и ее сыновья, может быть, они уже запутались в белых полотнищах снега, и кровь бежит из них и расходится на снегу красными цветами.

Она родила их здоровыми и крепкими, как стволы дубов; чем ближе было к родам, тем больше работала, после каждого ребенка становилась все краше и веселее, а молока в грудях было столько, что могла детей не только кормить, но и купать в нем. И муж был крепкий и милый, и было хозяйство.

Когда жали, бывало, ночью хлеб — будто звоном серпов убаюкивали детей, которые лежали сзади, — и чего ей тогда нехватало? Чего она боялась? Разве того, чтоб звезда не упала детям на головы? Но она была такая быстрая, что и звезду поймала бы на кончик серпа.

Нажав шестьдесят снопов, они отдыхали. Молодой муж целовал ее, и она смехом спугивала ночных птиц. Когда месяц заходил, тени дотягивались до конца нивы, — тогда ложились возле детей, а утром солнце будило их вместе с детьми. Она водила их к колодцу, споласкивала с их голов ночную росу, самый старший нес в жбане воду отцу. Муж оставался в поле, а она шла с детьми домой: один на руках, а двое держались за юбку. В дороге она играла с ними, как девушка играет вплетенными в волосы лентами. Миловала и голубила их. И не жалела для них времени. Сильная и здоровая, — все делала быстро. Дети все выжили, ни один не болел. Пошли в школу. Она ходила к ним во все города, на плечах носила им калачи, чистые рубахи, и никогда не болели у нее ноги. А когда во Львове их заперли за бунт в тюрьму, села она в поезд, и поезд так мчал ее к сыновьям, словно там, впереди, в машине горело ее сердце. Среди матерей-барынь она

впервые в жизни почувствовала себя равной со всеми господами и тешила себя мыслью, что сыновья поставили ее в один ряд с ними. Во время каникул съезжались отовсюду товарищи ее детей, хата будто расширялась, становилась просторней, как двор. Пели, говорили, читали книжки, были ласковы с простым народом, и народ лънул к ним, расцветал возле них, учился у них добывать мужицкое право, что господа с давних пор спрятали в палатах... Шли рядами со знаменами над собою, и господа расступались перед ними.

А когда грянула война, оба старшие сразу начали собираться, а младший не захотел отстать от них. Всю ночь собирала она их в дорогу, кулаками зажимала рот, чтобы не разбудить плачем. Когда начало светать, увидела она, что сыновья спят спокойно, и сама успокоилась. Села возле них в изголовье, тихо глядела на них от зари до восхода солнца — и в этот час поседела.

Утром муж глянул на нее и сказал:

— Твоя голова выучила их, пусть она и сидит.

Так провожала она их в город. Делала шаг и все надеялась, что один из старших обернется и скажет:

— Мама, оставляем тебе младшего на помощь и утеху.

Ни один не обернулся, ни один не сказал этих слов. Серое жнивье вливало ей в душу свой шопот, шелестело в уши:

— Да они отреклись от тебя, они баричи, они забыли мать-крестьянку.

Горькая капля вытекла из ее сердца и отравила ее.

В городе собралось их много — и паничей и простых парней.

У каменных стен матери держали свои сердца в ладонях и дули на них, чтоб не болели. Когда заходило солнце, все трое подошли к ней про-

щаться. Отвела их немного в сторону, вынула из рукава нож и сказала:

— Младший, Дмитро, пускай остается, иначе сейчас же всажу себе в грудь...

Сказала и мгновенно поняла, что этим ножом перерезала жизнь надвое: на одной стороне осталась она сама, а на другой — сыновья... И они уходят от нее навсегда... И она упала.

Очнулась, когда земля гудела под длинными рядами парней, которые пели сечевую казацкую песню. Дмитро был возле нее.

— Побежим, сынок, за ними, догоним их, пусть они меня, глупую мужичку, простят. Я не знала, я не виновата, что в моей голове помутилось, когда Украина забирала моих детей...

Бежала и кричала:

— Иван!.. Андрей!..

Все бежали за длинными стройными рядами сыновей, падали на колени и голосили.

Мария очнулась от полусна воспоминаний и заломила руки:

— Дети мои, сыны мои, где ваши белые кости? Я пойду соберу их и принесу на плечах домой.

Чувствовала, что осталась на свете одна. Глянула на небо и поняла, что сидит под синим сводом одна, что никогда уже не вернуться к ней сыновья, — весь мир сошел с ума — люди и скотина.

Убегало все живое. Не так давно людям нехватало дорог. Дети несли грудных, матери несли имущество, сталкивали друг друга, по ночам ревели коровы, блеяли овцы, кони растапывали людей и гибли сами под копытами...

За обезумевшими людьми свет горел, казалось, для того чтоб указывать дорогу в ад. Все прыгали в реку, вода несла на себе багровую луну и была похожа на протянувшийся вдоль земли мстительный меч. Дороги гудели и скрипели, их говор был

страшен, страшен был и вопль, что рождался в бешеной лютости, когда пожирали себя железо и камень. Мнилось, земля жалуется на свои раны.

А когда столкнулись у реки, пушки выбрасывали землю из ее вечной постели. Хаты взлетали вверх, как горящие факелы, люди, засыпанные землей, каменели и не могли поднять рук, чтоб перекрестить детей, красная река вспенивалась кровавой пеной, и пена, как венок, окружала головы трупов, и они тихо плыли по течению.

После сражения копали могилы, вытаскивали из воды мертвых.

Поле в несколько дней родило множество крестов, и мимо этих крестов увели солдаты ее меньшего сына: он называл царя палачом. Говорили, его ведут в Сибирь. Далеко идти, кровь будет течь из молодых ног, следы будут кровавыми. А муж повез мимо этих крестов офицеров и пропал, — нет его...

— Ой, голубчики, оставили вы меня с совами стеречь ваш пустой дом...

Воспоминания, тоска и горе ткали в голове Марии полотнище, чтоб скрыть от ее глаз яму жизни, — в это время во двор въехали казаки.

Ей никогда не давали покоя, и она люто крикнула:

— А, идете уже, грабители!..

— Ничего, мамаша, грабить не будем у вас, хотим погреться в хате. Пустите. Душа замерзла в теле.

Ответила:

— Идите грейтесь в холодной хате.

— А вы?

— А меня бить нагайками можете здесь, на любовь, как видите, я уже стара.

Один из казаков, молоденький такой, подошел

к ней и стал просить, чтоб она вошла с ними в хату, — без нее они не войдут.

— Мы люди ваши, — говорили.

— А что с того, что вы наши? Разрываете тело нагайками, а другие забирают и вешают людей; мертвецы качаются в лесах, даже дикий зверь убегает...

Молоденький казак просил так долго и так хорошо, что она, наконец, вошла с ними в хату. Стала у порога, а они сели к столу.

— Дайте нам чего-нибудь поесть, голодные мы, мамаша.

— Что я вам дам есть? Там, на полке, есть хлеб, а денег ваших мне не надо, потому одни дают их, а другие заходят, отбирают да еще бьют. Царь ваш такой большой и богатый, а посылает вас без хлеба воевать. Станьте на скамью и достаньте буханку с полки.

С хлебом казак снял портрет Шевченко, — он стоял на полке лицом к стене.

— Хлеб бери, а портрет отдай мне, это моих сыновей. Такие, как вы, сорвали его из-под икон, бросили на пол и заставляли меня топтать его. Я его спрятала за пазуху, а они меня так нагайками хлестали, что не помню, как из хаты вышла.

Вырвала Шевченко из рук и положила за пазуху.

— Можете меня зарезать, не отдам.

Молоденький казак, что просил ее войти в хату, подошел к ней, поцеловал ей руку и сказал:

— Мамаша, я за правду Шевченко долго сидел в тюрьме.

— Так кто же вы такие? Что за люди? Откуда пришли? Снег вот прикрыл землю, а то вы увидели бы, что на всех дорогах, по всему селу разбросаны наши книги из читален. Все, что бедный народ добыл себе, чтоб учить детей, пошло под конские копыта...

— Дайте, дайте нам портрет...

Медленно вынула и подала, — в ней шевельнулось любопытство: что они будут делать с портретом?

Они положили хлеб на хлеб, к хлебам прислонили портрет, вынули вышитые платки и украсили ими Шевченко.

В ту же минуту один из них, уже седой, вскочил, сбросил с себя казацкую одежду, — был он без рубахи:

— Вот вам, мамаша, наше награбленное. Все без рубах ходим, хотя могли бы много-много приобрести, а эти платочки, которыми мы Шевченко повили, это казацкие китайки, мамаша. Нас наделили ими жены, матери, сестры, чтоб было чем голову прикрыть в поле, чтоб ворон глаз не выклевал.

Мария оглядела их, неуверенно подошла ближе и сказала:

— Вы, видать, те самые, которых мои сыновья любили: украинцы...

— Они самые, друг друга режем...

Мария вынула из сундука рубаху и подала седому:

— Надевай, это моего сына. Бог знает, вернется ли, будет ли носить ее.

Казак робко взял рубаху и надел.

— Не будем, казаки, тратить времени, почествуем нашего отца, а хлеб будем есть дорогой. Вы ведь знаете, нам еще далеко ехать, — сказал старший.

Начали петь.

Зазвенели окна, песня в блестках солнца вышла во двор и понеслась по селу.

Женщины услышали ее и останавливались у ворот, против окон, затем несмело входили в сени, в хату:

— Мария, что у тебя? Пьяные или зазывают девок песнями?

— Нет, это другие.

— Какие другие?

— Такие другие, это наши... Молчи и слушай...

Мария широко раскрытыми глазами смотрела на казаков и стояла так, будто хотела удержать их песню в хате.

Песня выпрямляла ее душу, песня показывала всю ее жизнь, все звезды, какие видела она с детства, всю росу, какая падала ей на голову, и все ветра, какие когда-либо гладили ее по лицу.

Песня вынимала из ее души, как из черного сундука, все радостное и развертывала перед нею, и она не могла наглядеться на себя в ее дивном свете.

На горах где-то сидит орел, песня развевает его крылья, и ветер из-под его крыльев залечивает сердце, стирает с него черную кровь.

Она чувствует: сыновья держатся маленькими руками за ее рукава и растут с каждым звуком. Она слышит каждое сказанное ими слово и каждую беседу об Украине. Все сокровенные, затаенные слова возникают в сиянии звезд и, как драгоценное монисто, охватывают ее шею.

Сверкают реки родной земли и с грохотом падают в море, а народ встает на ноги. Впереди ее сыновья, и она идет с ними на Украину, — ведь это она, Украина, плачет и рыдает по своим детям и хочет, чтоб все они были вместе.

Ее рыдание летит в небо, и небесный покров колышется, раскрывается, и песня встает у божьего порога и подает жалобу...

Перестали петь, но Мария была недвижима, — стояла, как на полотне нарисованная. Из круга женщин, — а их сошлось уже много, — одна, старая, подошла к столу:

— Так вы наши? Благодарение богу, что вы хоть раз зашли, — сказала. — Ой, никто, бедные, нас не любит. Сколько ни приходило войска, все

нас не любят, а сколько они испортили людей! Везде, в городе ли, на дороге ли, в своем ли селе, — везде мы чужие, чужие, и никто нам не верит...

— И-и, чего вы хотите от них? Это ж не наше войско. Они такие, как в старинных книжках написано, или на картинках нарисовано, когда они еще нашими были. Но теперь они царские. Разве они могут помочь нам? Вот так, потихоньку, чтоб никто не слышал, поговорят...

— Ты молодая, читать умеешь, знаешь лучше. Я думала, это наши...

— Об этом и не говорите, за это нам может быть большое наказание.

Старуха юркнула за женщин, — в их взглядах была тоска, а в дыхании — скорбь.

Молодая Катерина подошла к столу:

— Глядите, эта Мария будто одеревянела от вашей песни. Она болеет за сыновей — двое пошли на войну доброй волей, а младшего взяли в Сибирь: где-то среди таких, как вы, он ругал — царя за то, что он мучит народ. А они хоп его — и пропал. Сыновья ученые все были, на них много было истрачено. В селе ни одна мать так не болеет за сыновей...

— Бедная Мария, бедная, — шептали женщины.

— Это было перед войною, когда мы насыпали курган этому Шевченко, что перед вами на столе. Насыпали другие села на вечную память, ну, и мы. Хлопот много было, старики не пускали днем курган делать — надо было в поле работать, — а мы сговорились и делали его по ночам: одни на конях, другие — с тачками, третьи только с заступами. Такой курган сделали, как колокольня, и Мария с тремя сыновьями помогала...

— А что с того, что курган насыпали? Только беду на себя накликали. Пришли солдаты, курган

раскидали, растоптали, денег искали или еще чего-то. За этот курган мой Михайло погиб...

— Ничего, что погиб ваш Михайло, люди никогда не забудут его.

— Вы, говорит, всю Украину изрыли, как свиньи, да пришли и к нам рыть?

— Хорошо тебе, Катерина, говорить, а он оставил жену и детей.

— И мой оставил меня с детьми.

— Из вас который-нибудь должен быть грамотным. Напишите, чтоб весь свет знал, как нас цари из ярма выпрягают. Мы им тот курган не скоро забудем. Когда мы насыпали его, светало, роса мочила нас, ноги болели, и мы уселись вокруг. А старший сын Марии взошел на самую вершину и так хорошо говорил нам о том, что с этого кургана мы будем смотреть на другой курган, на тот, что стоит на Украине, что все мы будем думать одну думу. И так он глядел, будто и вправду в звездах видел Украину. Потом мы встали и пели песни, какие поете вы...

Катерина склонилась почти к уху казака и шепнула:

— Ваши песни такие же, какие пели сыновья Марии. Не трогайте ее, пусть ей кажется, что поют ее сыновья...

СЫНОВЬЯ

Старый Максим боронил яровую пшеницу. Кони были молодые, крепкие, и бороны летали по вспаханной земле, как перышки. Максим бросил шапку на борозду, рубаха его расстегнулась и сползла на плечо. Облако пыли из-под борон заволакивало на голове и на груди седые волосы. Он кричал, злился, и люди на соседних полях говорили:

— Все лютует старый пес, но молодыми лошадыми правит еще крепко. Богач, с молоду хорошо кормлен, да потерял сыновей и с тех пор кричит и в поле и в селе.

Максим обтирал потных лошадей.

— Старые кости, как старая ветла: в огонь хороши, а за лошадыми бегать не годятся. Если ноги за лошадыми подгибаются, а в танце слабеют, пусть такие ноги не говорят, что они чего-нибудь стоят. Лезь, дед, на печь, пора пришла...

На печь, брат, я еще могу взлезть, но печь холодная, облупленная! Иконы на стенах почернели, и святые глядят на пустую хату, как голодные псы. Старуха всю жизнь украшала их барвинком, васильками и голубей им золотила, чтоб ласковыми были, чтоб хата была светлей, чтоб дети росли. Но святых хотя и много, а толку мало. Сыновей нету, старуха в земле, и вы, святые, должны извинять, что барвинку нет, —

надо было вам лучше стараться. А ну-у, звездолобый, пока наше время не пришло, возьмемся, брат, за работу!..

И они ходили, окутываемые пылью, с одного конца поля до другого. Бороны грызли землю, гремели, расцарапывали комья, делая зерну мягкое ложе.

— Ты босяк, ты не конь, ты пес, ты все плечи мне обгрыз, метка на метке, все искусал! Не дергай хоть ты, меня жизнь так издергала, что я еле на ногах стою! Я тебе до рассвета овса засыпаю, сам еще ничего не ел, а тебя чешу, старыми слезами поливаю, а ты кусаешь. Вон звездолобый, он у меня как человек, он за мною черным глазом следит, он меня жалеет, он своей гривой вытирает дедовы слезы, а ты, поганец, сердца не имеешь! Недавно ты целый пук волос у меня вырвал и бросил под ноги в навоз. Так нельзя делать! Хотя ты очень красивый конь, но поганый. Я тебя никому не могу продать, но если бы пришел святой Егорий, то, ей-богу, подарил бы тебя ему, чтоб шел ты с ним гадов убивать. Работать на земле ты неспособен, в тебе терпения нет...

Он слюнявил пальцы, промывал ими на плече рану и присыпал ее пылью.

— Гей, кони, идем, идем!..

Бороны шли спокойней, ровней, — земля подавалась, рассыпалась. Ноги Максима ощущали мягкость, ту мягкость, которая так редко гостит в душе мужика, — земля дает ему эту мягкость, и за это он так любит ее. Когда он бросал горстями зерно, то приговаривал: «Колыбельку я вам постлал мягонькую, растите до неба».

Максим успокоился, перестал кричать и вдруг остановил лошадей:

— Да какого чорта ты мучаешься, старый полоз? Чего хрустишь каждым суставом, кривуля?

Он оглянулся, увидел сзади длинную нитку красной крови и сел:

— Стекло подвернулось, бес твоей матери! Боронуй теперь, но ведь поля недоделанным не оставишь, на куски разорвешься, а не оставишь. Но тебе, бедное поле, мало будет пользы от этой старой крови: старая кровь, как старый навоз, ничего не дает. Мне вред, а тебе пользы никакой...

Припадая на одну ногу, он выпряг лошадей, повел их к возу и задал сена.

— Ты, солнце, не хмурься, что старик скоро полдничать стал. Старику не на чем ходить...

Он вынул из сумки хлеб, сало, бутылку и промыл рану водкой; потом оторвал кусок рукава, обернул им ногу и завязал веревочкой от мешка.

— Теперь или болей, или переставай, или как хочешь, а бороновать все-таки будем.

Выпил водки, кусал хлеб и вновь сердито выкрикивал:

— Это хлеб? Им только паршивого коня чешать, на хорошем коне шкуру сдерешь! Ко мне стаей приходят эти неряхи: «Дед, — говорят, — мы вам хлеб будем печь, рубахи стирать, завешайте нам поле». Думают, я для них поле берег? Когда умру, пускай на моем поле цветы растут и маленькими головками молитвы читают за деда.

Со злости швырнул хлеб на дальнюю борозду:

— Зубы шатаются от этой макухи. Выпьем, Максим, водки: водка гладко проходит...

С поля взвился жаворонок и запел.

— Слыхал, молчи, не заливайся над моей головой. Кому ты начал петь? Этому оборванному, изгрызанному конем деду? Лети на небо, скажи своему богу, чтоб не посылал мне глупую птичку с песней, а если он сильный, пускай вернет мне моих сыновей. Ведь по его воле я остался один на земле. Пускай твой бог песнями не дурачит меня, убирайся...

И он швырнул в жаворонка комком земли, но тот запел над его головою еще звонче и не захотел улетать к богу.

— Ты, птишка, ничего, ровно ничего не понимаешь. Когда мой маленький Иван гонялся за тобой, хотел поймать тебя, когда он на межах искал твое гнездо да играл на сопилке, тогда ты, птишка, умно делала, что пела, тогда тебе надо было петь. Твоя песня и голос сопилки стлались низом, а над вами было солнце, и все вы проливали божий глас: и надо мною, и над сверкающими плугами, — над всем веселым миром. А сквозь свет солнца, как сквозь золотое сито, бог осыпал нас ясностью, и вся земля и все люди сверкали золотом. Солнце, как в большом корыте, замесило весну на земле...

Из этого корыта мы брали калачи, калачи лежали перед музыкантами, а молодые в цветах любились, шли под венец, и катилась весна, как море, как поток. Вот, птичка, тогда твоя песня лилась в мое сердце, как студеная вода в новый жбан... Летн, птичка, в те края, где у людей еще не отняли калачей и детей не перерезали...

Обеими руками обхватил седую голову и склонился к земле:

— Стыд тебе, седая голова, стыд, что причиняешь и припеваешь, как плаксивая баба... Ведь ничто уже не поможет тебе на этом свете...

Эх, сыны мои, сыны мои, где лежат ваши головы?.. Не только поле, душу продал бы я, чтоб окровавленными ногами дойти до вашей могилы. Господи, врут золотые книги в церквах, что ты имел сына, врут, что ты имел его... Ты своего воскресил, говорят. Но я тебя не прошу: «Воскреси моих», нет, я тебе говорю: «Покажи мне могилы их, пусть я лягу возле них». Ты видишь весь мир, а перед моими могилами ослеп...

Пусть твой синий купол так потрескается, как потрескалось мое сердце.

Ну, приди которая-нибудь к старику; или вы не обнимали моих сыновей, не ложились с ними в чистую постель? Да они же были, как дубы, кудрявые. Принеси мне младенца, что нагуляла, не стыдись, приходи. Дед тебе все коврики под ноги постелет, а внуку на пеленки все самое тонкое полотно порежет. Ты же ходишь невенчанная и плачешь от надругательств...

Дед поднял руки и взвыл ко всему свету:

— Иди, иди к отцу, на попа мне начихать!

Громко заплакал, лег на землю, как платком, вытирал слезы, — стал черным. И опять заплакал:

— Или приходи, его любимая, одна, без ребенка. Я на твой шее увижу его руки, на твоих губах покраснеют его губы, а из твоих глаз, как из глубокого колодца, я выловлю его глаза и спрячу их в сердце, как в коробке. Я, как пес, услышу запах его волос на твоей ладони... Иди, спасай старика... Ты еще живая, а их уже нет. Найдите дорогу ко мне и принесите мне весточку. Покропите холодной росой мои седые волосы, каждый из них жжет меня, как раскаленная проволока. Моя голова горит от этого огня.

И рвал на себе волосы и бросал их на землю.

— Седые волосы, жгите землю, я больше не могу носить вас...

Вконец обессилел, прилег и долго лежал молча, потом начал тихо рассказывать:

— В последний раз пришел Андрей. Он у меня был ученым. «Отец, — говорит, — мы идем воевать за Украину». — «За какую Украину?» Он подбросил саблей комок земли и говорит: «Вот Украина здесь, — и поднес саблю к груди, — здесь ее кровь; землю нашу идем от врага отбивать. Дайте мне, — говорит, — чистую рубаху,

дайте чистой воды умыться и будьте здоровы». Ой, как блеснула тогда его сабля и ослепила меня! «Сынок, — говорю, — у меня есть еще младший, Иван, бери и его на это дело; он здоровый, обоих отдаю за нашу землю, чтоб враг не забрал ее». — «Хорошо, — говорит, — отец, пойдем оба». Как услышала эти слова старуха, я сразу увидел, что смерть обвила ее белым полотнищем. Я попятился к порогу: я почуял, что глаза ее будто выпали и, как мертвые камни, покатались по полу. Так мне казалось, но лицо ее и в самом деле погасло. Утром оба уходили, жена прислонилась к воротам и ничего не говорила, а взгляд у нее был таким, будто она глядела с неба. И я, когда прощался с ними на станции, сказал: «Андрей, Иван, назад не возвращайтесь, помните обо мне, я теперь один, ваша мать у ворот умерла»...

До вечера Максим водил лошадей по полю, но уже не кричал. Дети, что гнали овец, люди, что плугами бряцали на дороге, шарахались от него и не здоровались с ним. Измазанный грязью, обрванный, хромым, он как будто уходил в землю...

Поздним вечером Максим обошел коров, лошадей и, подоив овец, вошел в хату.

— Ты, бедная, совсем затихла, омертвела, будто в тебя нож вонзили, ты не можешь даже слова сказать... Но я в тебе еще разгребу немного огня...

Он сварил жидкую кашу, надел белую рубаху, поужинал и затих.

Потом припал к земле и молился:

— Будь, божья мать, ты моей хозяйкой. Ты со своим сыном будешь в середине, а по бокам будут Андрей и Иван. Ты дала в жертву одного сына, а я двух...

СЛУЧАЙ С ДЕТЬМИ

— Василек, бери Настю и веди ее к дяде, вон туда, тропкой вдоль леса, ты знаешь дорогу, но легонько держи ее, за руку не дергай: она маленькая. И не носи ее, ты еще слабый...

Мать села — было очень больно — и легла.

— Будто я знаю, куда ночью вести ее? Вы умирайте, а мы будем возле вас, утром пойдем...

Видишь, Настя, пуля брынькнула и убила маму, а виновата ты: чего ты редела, когда солдат хотел маму обнять? Больно тебе было, что ли? Убегали мы, а пуля и свистнула... А теперь у тебя уже нет мамы, и ты пойдешь в служанки...

Уже не говорит, уже умерла. Я тебя мог бы здорово избить, но ты теперь сирота. Да и что такая девка стоит? Когда умерла соседка Иваниха, ее девка причитала над нею: «Мамка, мамка, где тебя искать, с какой стороны ждать?» А ты не умеешь, а я мальчик, и мне причитать не полагается...

Видишь, войско с той стороны свет пускает, как воду из сита; блеснет — и видит, где солдат, бахнет пулей в него, он сразу падает, как мама. Ложись скорее возле мамы, а то сейчас пули будут лететь... О-о, слышь, как дзинькают...

А гляди, как за Днестром солдаты огненные пули подбрасывают, кидают высоко-высоко, а

пуля горит-горит, потом погаснет. Играют ими, о-о, как их много-о-о...

Смотри, пушка: гу-гу-гу... Но она в людей не стреляет, только в церкви, в хаты или в школу...

Ты пушки никогда не бойся. Пуля в пушке такая большая, как я, а колеса вроде мельничных... Хотя ты еще ничего не понимаешь, ты чуть ходить начала, а я уже умею брыкаться, как конь...

Прячься за маму, о, опять свет пускают да белый-белый, как полотно; сейчас на нас наведут, гляди, какие мы белые, а пули опять свистят. Ов-ва, когда в меня пуля попадет, я лягу возле мамы и умру, а ты сама дороги к дяде не найдешь. Лучше пусть тебя пуля убьет, я знаю дорогу, сбегая, скажу, вас обоих дядя и похоронит...

Уже плачешь, а разве от пули бывает больно? Пуля дзинькнет, провернет дыру в груди, а душа через эту дыру и убежит, — вот и все. Это не то, что дома болеть: лежишь, водкой тебя натирают...

«Есть хочу», слава богу! А что я дам тебе есть, раз мамы нет? «Пускай мама даст...» Ну, и говори маме, говори... Ну, что говорит мама? Возьми, возьми ее за руку, а рука упадет... Что, не говорил я тебе? Глупая девчонка, из мамы душа ушла, а душа и говорит, и хлеба дает, и бьет...

Настя, ей-богу, бить буду... Чего я тебе дам есть? Ты гляди на войну, какая она красивая, а утром пойдем к дяде и будем есть борщ... Или, погоди, у мамы за пазухой, кажется, есть хлеб... Молчи, есть у мамы хлеб, вот, на, ешь. Ну, и прожорливая ты девчонка...

Опять полотнище пускают... И какое беленькое, как снег... Идет на нас, о-о... Настя, что с тобой? Го, у тебя весь рот в крови... и руки... Тебя уже пуля застрелила? Ой, бедная Настунька, ложись возле мамы... Что тебе еще делать?

Э-э, это не пуля тебя убила, это хлеб под ру-

бахой у мамы залило кровью. Ух, поганка, все ешь, как свинья. О, и лицо и руки кровью изма- рала. Как я тебя утром такую в село поведу? Хотя подожди, я буду итти с тобой вдоль ручья и умою тебя такой холодной водой, что ты не своим голосом реветь будешь, а я еще избыю тебя...

Уже наелась. Ну, и ложись возле мамы, а я рядом с тобою. Ты в середине будешь, тебя волк не съест... Спи, а я еще на войну буду глядеть. Да грейся возле меня.

А, может, пуля на войне уже отца убила, а, может, она до утра и меня убьет, и Настю... Тогда не будет никого, никого...

Заснул.

До белого дня белое полотнище света дрожало над ними и убегало за Днестр.

НЯНЬКА

Сидит маленькая Парася и держит в подоле ребенка; вокруг нее такие же няньки, как она, — девочки и мальчики.

Сборище выглядит так, будто стрясли с дерева крупные яблоки, и они раскатились по земле.

Парася предлагает играть в похороны и причитывать.

— Зачем в похороны? Зачем причитывать?

— Я вам скажу зачем. Я слышала этой ночью, как мой отец говорил матери, чтоб этого ребенка не было в хате, — он не наш ребенок, он московского гусара. Отец говорил матери: «Или ты его убей или живьем закопай, я его не хочу». А мать говорит: «Да как же я закопаю живого ребенка? Ты сам убей и закопай...» Я до рассвета ушла с ребенком и ждала вас, когда все еще спали, потому что вы спите, а отец все кричит: «Убирайся от меня с этим байстрюком!»

Маленький Максим, которого всегда гусары очень интересовали, положил своего ребенка на землю и стал внимательно разглядывать гусарского ребенка.

Он говорит:

— Да этот ребенок такой же, как все, а отец твой какой-то глупый...

— Да, а если отец хочет удушить этого ребенка?

— Ну, это не штука душить такого маленького. Задушит и похоронит...

— Вот твоя мама будет причитать, ай-я-а...

— Давайте причитать только одни девочки. Мальчики, молчите, вам не полагается...

Девочки голоса, подражая бабам, — по выгону стелется звонкий похоронный напев.

Старая Дмитриха из-за ворот кричит:

— Да вы, девки, что, посдурели со своим плачем? Грех причитать, если нет покойника!

— Бабушка, этот гусаров ребенок должен умереть, его хотят удушить, и нам не грех причитать...

Старуха крестится, дети вновь голоса...

ВОЕННЫЕ УБЫТКИ

Седой комиссар въезжал на казенной подводе в село и удивлялся, что оно еще чистое и белое.

«Этим мужикам, — думал он, — сам чорт ничего не сделает, а не то что война: жрут, как свиньи, да наливаются румынской водкой. Интересно, клюнет ли у меня и сколько дадут заработать? Я умею ошипывать их...»

Максим Онишук от своей хаты увидел комиссара и спрятался за угол.

— Откуда у Польши столько этих подпанков? Возим, возим, а перевозить не можем. Лучше спрячусь, а жена скажет, что я на мельнице. У меня уже боком выходит возить эту саранчу...

У старого Куфлюка нет лошадей, и он смело вышел за ворота.

— Ишь, какой откормленный, как свинья. Все богачи в кусты убегут, чтоб подводы не давать.

Старая Варвара вслух сказала: «Славайсу», а дальше шопотом:

— Это какое-то старое дупло, не будет по ночам бегать с полицейским и хватать молодых за подолы...

Приходский поп, как жеребенок, кинулся в хату, чтоб не попасться комиссару на глаза.

— Матушка, опять беда принесла какого-то

чиновника. Приберите в комнатах да готовьте получше обед.

— Да уж у этих ляхов хороший аппетит.

Учитель низко поклонился комиссару и сказал: «Я у ваших ног», — он не боялся, что комиссар завернет к нему в гости.

Возле общественной канцелярии староста с сельским выборным поджидал комиссара и говорил:

— Люди добрые, я этого не выдержу: старуха из хаты гонит, дети кричат на меня, как на пса. Нет покоя ни днем, ни ночью. Давай им есть, давай водки, ходи с ними по селу за бунтовщиками; ищи винтовки, ищи прокламации из Вены, раскапывай землю да находи измену Польше. Зимой дверь не закрывается, старуха на печи мерзнет. Пойщите себе другого старосту. Я больше не могу эту тяготу нести. Вот видите, уже едет, чтоб его чорт взял...

— Староста, где люди? Я же приказывал, чтоб все собрались у канцелярии.

— Я через десятских оповестил, чтоб приходили... Может, сойдутся еще.

— Мужик все глуп: как платить, так он хватает податную книжку и готов выложить деньги, а как получать, так он лежит на печи. Ну, и чорт вас побери, мне работы меньше, а плата одна...

— Прошу прощения, барин, мы уже столько наполучали, что не можем донести...

— Не спорю, хозяин, при австрийской власти так было, а при нашей будет иначе.

— Дай боже...

— Староста, вы первый будете записывать свои военные убытки. Кто не придет, пусть сам на себя пеняет.

— Фамилия?

— Михайло Вахнюк.

— Сколько моргов земли?
— Какне там морги! Всю дети разобрали.
— Но сколько вы обрабатываете?
— Может — десять, может — больше, может — меньше...

— Запишем двенадцать.
— Столько не будет.
— Ну, запишем одиннадцать.
— Ну, пускай...

— Какие военные убытки?
— Да какие убытки, разве мне их кто покроет?
Не стоит зря говорить и писать...

— Вы, старшина, не понимаете того, что мы от москалей под Варшавой только мокрое место оставили, из Вены и Будапешта все золото заберем и оплатим золотом все военные убытки.

— Бог бы вашими устами говорил...

— Теперь мы ваши, а вы наши.

— А кто его знает, как оно будет...

— Будет Польша, а вы, если имеете разум, берите золото от мадьяр, от немцев и русских и живите в добре под Польшей, а своих бунтовщиков гоните из села. Ну, староста, какие убытки?

— Пару лошадей да воз еще в начале войны взяли австрияки, лошадь с возом — тысячу крон. Москали взяли корову и телушку — за обеих считая восемьсот крон.

— Что еще?

— Еще мадьяры грабежом взяли двух кабанов, стоят они триста крон.

— А еще что?

— Да разве я могу все вспомнить, да и что вспоминать плохое? Хорошо, что прошло оно.

— Нет, вы все записывайте, за все заплатим...

— Да брали подушки и дерюги, все сало заграбастали, и сани, и дрова из-под хаты, — ну, разве я могу все вспомнить?..

— Вот видите, ваши убытки, пан Вахнюк, рав-

няются двум тысячам шестистам золотых крон, а если переведете их на марки, то вам будет на что жить до конца жизни.

— Эх, пане, бог те кроны считать будет, а марок мне не надо.

— Так подарите мне свои убытки, я вам сразу тысячу крон дам...

— Зачем же я буду дарить господам, которые поважнее меня...

Выборные записывали свои военные убытки тоже неохотно, а подошедшие крестьяне уже переводили золотые кроны старшины в марки, и не одного из них охватывала досада, что он не имел никаких военных убытков. А когда шинкарь Кальман целый час перечислял свои убытки, не пропуская ни малейшего пустяка, крестьяне загудели:

— О, поганый, насчитал целых три тысячи золотых крон, а хромой Дмитро спрятал у себя все его имущество. Смотрите, сколько денег наберет.

— Я в Карпатах два месяца ел сырую картошку, потерял лошадей и воз, едва домой добрался, дома полгода пролежал... И чтоб я да ничего не имел!..

Говорили, говорили, наконец, разбежались по селу вызывать свояков и соседей, чтобы те не теряли золотых крон. Через час все село было на выгоне. Комиссар сказал:

— Вижу, люди, что ваше село умное, и все ваши убытки запишу, а пока пойду поем, голоден...

И все вместе — комиссар, староста и выборные — пошли к Кальману, долго закусывали там и вышли красными, как раки. Выборный Корч уже знал, что комиссару надо румынской водки, масла, кур и яиц. За то, что он уведомил селян об этих нуждах комиссара, ему не позже чем через месяц оплатят все его военные убытки.

И вот, пока комиссар описывал в канцелярии военные убытки, бабы натаскали в кладовку, где

он остановился, всякого добра, а мужики в рукавах носили туда водку. Полицейский и Корч вскоре тоже покраснели, а с ними покраснели и их кровные родичи. Весь выгон взвеселился и до полуночи, пока комиссар записывал убытки, любовно беседовал. Выборный Корч держался того мнения, что кур и яиц комиссару собрано больше чем достаточно, но особенно много собрано водки.

В полночь мужики, как пчелы матку, обступили комиссара и проводили его к Кальману на ужин. На заре усадили комиссара в телегу, обложили его курами, яйцами, водкой и, желая ему и извозчику Миколе счастливой дороги, веселые разошлись по домам.

У Кальмана остался только пьяный Свиц. Он до восхода солнца кричал:

— Пускай тех солдат черт заберет, что они не грабили меня!

А Микола погонял исправных лошадей. Когда он переезжал рошу, на него и на комиссара напали парни, отобрали все подарки, а их избили. Крепко стегнули кнутом по лошадям, и Микола с комиссаром только под городом пришли в себя и начали стирать с лиц кровь. Микола рукавом, а комиссар платочком.

— Вот хамы деморализованные, вот скоты! И они рассчитывают получить возмещение убытков? Чорта в зубы...

Так и вышло...

MORITURI

В воскресенье и в праздники до восхода солнца сходились они к парикмахеру Тимку бриться и подстригать волосы. Приносили ему кто хлеба, кто сала, кто иных продуктов, но денег никогда... Их, державшихся Тимка, было уже немного в селе: одни умерли, другие погибли на войне. Но за тридцать лет они привыкли сходитьсь у Тимка и не покидали его.

— Хоть бы не курили этого табаку, а то я пропадаю от него, и не ржали бы, как кони, а то я глохну.

— Сиди, Настя, тихо, ты давно глухая.

— Как не оглохнуть в такой мельнице? Стыдитесь, старые зубоскалы.

— Да чего вы слушаете музыку с беззубого гребня? — говорил Тимко.

— О, какой хозяин у меня! Такой хриплый да сюнявый.

— Что ты мелешь языком, как мельница?

— Тьфу на тебя, на старого!

— Она еще хочет, чтоб я, как прежде, пошлепывал ее по мягкому месту. Нет, голубушка, не взыщи, мягкого давно уже нет.

— И это ты в воскресенье говоришь, окаянный?

Ведь ты не сегодня-завтра должен на тот свет собираться.

— Ну что ж, и соберусь, а таких старых баб не буду шлепать.

Хохот, смех, кашель Насти.

— Тимко, человек, бери клещи и рви зуб, я в эту ночь прямо на стену лез.

— Который зуб?

— Да на, гляди.

Василь раскрыл рот и показал ряд белых зубов.

— Да что за дьявол с твоими зубами? Зубы такие, что железо перекусишь.

— А я не могу терпеть.

— Ну, а я, миляга, не могу до обедни зубы рвать. Терпи, как можешь, до обедни я не буду кровь пускать.

— И-и, сколько ты этой крови уже выпустил с подбородков, со щек.

— То- нечаянно, а это иначе.

— Василь, а ты попробуй водкой.

— Исходилили дети все село — нету.

— А нет ли румынской водки?

— Я сейчас найду, только далеко, в конце села.

— А сколько нас?

Подсчитали.

— Литровку купишь, хватит.

Все доставали деньги не спеша, как бы нехотя, а в душе радовались предстоящей выпивке.

— Которые бриться пришли, разводите мыло, а которые стричься, садитесь, уже солнце всходит.

— Тимко, голубчик, да заведи ты папиросной бумаги, ведь каждый, кто выходит из твоих рук, должен целую книжку бумаги наклеить на себя, чтоб не шла кровь.

— У тебя, Микола, такая твердая борода, что

лучше б я дикую свинью обрил да пустил в церковь, чем тебя.

— Тебе все не угодишь: на Юрка жалуешься, что у него мягкий волос.

— Да у него такой волос, как у девки подмышкой. У меня уже рука дрожит. Я не знаю, хватит ли сил побрить вас, а если иной еще ноги протянет здесь, то как его, небритого, в гроб класть?

Солнце уже поднялось. Гости Тимко, облепленные бумажками, сидели и ждали водки. Микита, наконец, вернулся с бутылкой. Пока он брился, на столе появились стаканы, хлеб и чеснок.

— Пьем, братцы, потому век наш короткий. Чего нам жалеть?

— Да кабы нам этого зелья подносил кто, мы еще жили бы полегоньку. Старшину уже не ставим, правления не выбираем, депутатов не посылает.

— Все перешло к читальне, там теперь все правление.

— Э, правление... Девки переодеваются парнями, парни девками, обнимаются без стыда и срама, гулянки справляют и берут за билеты деньги.

— Теперь такая забава у них, но разум они имеют, не бойтесь, — молодые везде побывали. Польши никак не хотят, а господские земли хотят разделить...

— Ей-богу, правильно, ничего не скажешь. Этой Польши никто не выносит: и имущественный, и подходящий, и земельный, и на собак, и на навоз, — налог на всё, что на свете есть.

— Если б могли одолеть! Дай, боже, здоровья, Настя! Да ты не кричи, мы уже расходиться собираемся.

— А разве я что-нибудь говорю? Дай, боже, и вам здоровья, только не одурманьте голов, как на троицу было: люди идут в церковь, село зеленую убрано, а вы лежите, как бревна, в траве.

— Тогда деньги были. Где та пора?

Долго еще разговаривали и оставили Василию две рюмки водки лечить хворый зуб.

— Да идите уж по домам. И когда только бабы соберут вас в церковь! Когда я вымету этот волос, эти конские гривы с белых коней?..

Они выходили из хаты с разгоряченными лицами, с лицами, которые долгие годы обжигало солнце. Оно и теперь сразу же расплылось по ним лучами, и они понесли его на себе к своим хатам.

ДЕД ГРЫЦЬ

Я поехал провести моего старого друга Грыця. Он давно оглох, и говорить с ним было тяжело. В руках он держал зеленую ветку, а возле него на траве сидел его маленький внук.

— В добрый час вы приехали: я вновь родился, стал молодым, но не знаю, сойду за ребенка или опозорю свою старую голову. Слышу свадебную музыку, ту, что была, когда моя старуха выходила за меня замуж: какие-то громкие голоса залетели мне в уши. А до сих пор они были будто оловом залиты. Мука быть глухим, слова вянут на языке, а старуха только посмеивается надо мною и пищит, как сойка, в самые уши: «Ага, не можешь уже на собраниях слушать да с трибуны говорить». От тоски по людскому слову мне не раз хотелось дать себя закопать в землю. Горько, когда живое тело обрастает корой и становится пнем...

Приходится жить в самом себе, как в рухнувшей хате, где все разбито и исковеркано. Откуда-то, как из тумана, как из мокрого пепла, вытаскивать свои разбитые пожитки да обтирать сажу с рук. Родные дети будто чужие, я забыл, что они были маленькими...

— Очень давно в нашем городе собралось много хозяев из Черемша, с Прута, с Днестра, — мы привезли мальчишек в школу. Мальчишки наши приуныли, притихли на городском рынке, как рыба, выброшенная на дорогу, изнывают от желания убежать назад, в зеленое поле. Матери сидят на возах, плачут да втихомолку проклинаят тех, кто присоветовал учить детей, а мы, отцы, радуемся. «До тех пор, — говорим, — быть нам глупыми и служить господам, пока детей не выучим, а тогда и господ прогоним». Потом, когда дети подросли в школах, мы, крепкие хозяева, гудели возле них, как пчелы над цветами...

Когда я, как замурованный цементом, оглох и будто очутился в глубоком погребе, тоска сделала меня таким, что я начал забывать то, что радовало меня в жизни. А когда несколько дней тому назад я почувствовал в себе новую силу, — господи, должно быть, все солнце, какое носил я в себе три поколения, воскресло во мне, все пшеницы, какие скосил я, оказались еще немолоченными. Теперь я богат, я еще прокормлю Украину. Все морозы, что века неслись надо мною, ставят меня на ноги. Иду будто к детям, старуха наложила в сумку всякой всячины, и этого им, и того им, — не жалеет меня, нагружает, как лошадь. А я и в метель и в бурю иду веселый, радостный, — впереди дети, а сзади белая хата...

Здоровы ли они, растут, учатся?

Отдыхаю в пути, как дуб, крепко пустивший корни в землю, а ветки высоко — под небесами. Теперь я ожил, я здоровый, похожу еще по своей дороге, ведь у меня полная пазуха доброй, ласковой души...

— Эх, как кончили они школы да как взялись за нас, а мы как сгрудились вокруг них, — где уж тут жандармам сделать что-нибудь! Идем за

детьми тысячами, сильные, разумные, свои впереди! Встает Франко с таким ясным челом, как солнце, и спокойно учит нас, — он все знает. Говорит нам, что если каждый из нас посидит в тюрьме за мужицкое дело, то никогда ничего не будет бояться... А Павлик едва дышит, но рассказывает тоненьким голосом о нашей нужде, а сзади, у двери, крикливый Трилевский в лентах, как девушка, все грозит, и молодежь все теснее окружает его. Одним словом, в городах земля гудела под нами, и не один панский выводок со страху убежал из своего гнезда...

А когда Франко приехал ко мне с молодежью ночевать, моя жена хоть и очень не любила сходок, не трещала на меня, — видела, что наши молодые ученые возле него так счастливы и так сияют, будто он каждому положил на голову золотой венчик. А я в саду прислонился к ясеню и говорю: «Господи, ты развеселил мир этими звездами, а нас, бедных мужиков, ты порадовал Франком. Буду каждый день молиться тебе за него».

В хате я сказал ему: «Мне, неграмотному, ваши писания одно за другим сыновья читают, старые и новые. Если б бог дал вам силы разыскать наши книги в земле, в старых монастырях и те, что замурованы в господских палатах».

На другой день я вез его на станцию, встретил какого-то пана, кони у него были как драконы, но я с дороги не свернул и шапки перед ним не снял. Эге, пан, я не такого пана, как ты, везу...

— Мы росли, дети наши множились, все одного духа, но война многих положила в сырую землю, а те, что остались, которых мы вскормили, которых Франко научил, собрали одно украинское войско, и войско это сказало, что должна быть

Украина¹. Тех, кто этого не видел, бог, видно, лишил своей милости.

Внуки мои пошли, а я еще и внучку послал, чтоб в госпиталях за больными ухаживала. Ни один не вернулся. Старуха обезумела, меня лихо-словила, Украину проклинала. «Ходил ты, — говорит, — всю жизнь по собраниям, детей приучил и пустил их в пропасть». А старшие дети ничего не говорят, молчат о том, что я кости их детей разбросал по свету...

Я собрался идти за внуками, да поляки на границе поймали и пригнали домой. Долгие годы сидел я за углами хаты и не смел войти в нее даже поесть. Сделал себе постель в хлеву и жил там со скотиной лето и зиму. Я оглох, ослеп, есть не ел, — только картошку и немного воды. Жизнь обходила меня, и мои дети обходили...

Но хуже всех те из наших, что пошли на службу... Как только придет польский жандарм и начнет гнать сына с подводой по наряду, я беру кнут и сажусь, лишь бы знать, куда везти.

«А что, старик, где ваша Украина? А сколько моргов поля ты хотел отобрать у пана? А каким министром хотел быть твой внук?»

«Глухой, — говорю, — не слышу ничего...»

И вожу или с улиц мусор собираю, — выполняю наряд. Наши, те, что пошли чужим служить, отворачиваются от меня, будто не узнают, ходят, горемычные, как собачонки, выгнанные хозяином в поле. Но одна молодая учительница узнала меня. Не плачет, не рыдает. «Дед Гриць, — говорит, — что мне делать? Мой начальник хочет, чтоб я перешла в его веру». — «Бедная, — говорю, — не ходи к ним в гости, если они твоей верой брезгают, сиди в своей хате да ешь черный хлеб...»

¹ Речь идет об освободительном движении украинцев Галиции в 1918 году.

А к вам я имею большую просьбу. Долго ли буду здоровым или недолго, но я возродился. А если умру, сейчас же приезжайте ко мне: боюсь, что, когда не станет меня, мои дети сорвут со стены и Шевченко, и Франка, и всех наших и выбросят в печь. Ведь из-за них дети погибли, и они глядеть на них не могут. А когда я буду лежать в гробу, при людях спросите моих детей, будут ли они почитать эти мои портреты, как почитал я, или перевернут их лицами к стене, чтоб подлизаться к экзекуторам и жандармам? Маленький внук, он бы еще уважал и заботился о моих друзьях, но ему это еще не под силу...

Ну, а если мои дети не захотят чтить моих святых, то купите кожаную сумку и в ней положите их мне на грудь. Кожа, говорят, века не гниет...

И еще у меня одна просьба. Оставляю кусок поля, а кому — это уж вы сами определите: когда соберут в одно место кости наших родных стрелков, пусть и за меня кто-нибудь бросит на курган несколько лопат земли, но высоко-высоко, ведь на тех костях расцветет наша земля. А что касается похорон, то у меня все приготовлено, ни одного гвоздя не придется детям тратить на меня...

На рассвете следующего дня ко мне пришел посланец. Дед Грыць, когда я уехал от него, попросил маленького внука сыграть на сопилке, выпил молока, едко пошутил над своей старухой, надел чистую рубаху, зажег свечку, лег в постель и скончался...

ИЗЪЯВЛЕНИЕ

ПОСМЕРТНОЕ

НИТКА

В хате тихо, в окнах темно. Икона божьей матери и гребень с льняной мычкой чуть освещены. Муж, Семен, еще любит ее. Возле него спят Мария и Василь, а рядом с нею в колыбели самый младший, Юрко. Иконы на стенах — и большая радость оттого, что она любит и ее любят.

В хате прибрано, только бы прясть и прясть.

— Он у меня сильный, я еще буду иметь детей... Сколько ни нарожу, он всех прокормит... Я должна одевать их, любить и работать на них.

Нитка длинная-предлинная, бесконечная, — никто не видит ее конца.

— За ними надо ухаживать, бог дал их мне на любовь... Хочу, чтоб муж слышал на своем теле все мои пальцы, все десять... А Марию к пасхе надо приодеть, и мальчишки все порвут, знают, что мать сошьет новое...

Муж спит каменным сном. Мария раскрылась, Юрко беспокоится в колыбели. Укрыла детей и грудью склонилась к Юрку... Все вместе — и лен, и глаза, и нитка, длинная, бесконечная...

— Когда напряду на них да выбелю полотно, как бумагу, вышивать стану... И буду глядеть из-за ворот на мужа, на детей, как они, все мои, идут по солнцу...

К полуночи глаза устают, пальцы млеют, а нит-

ку надо прятать и вести дальше, дальше... Но молодое тело клонится к гребню.

— Нет, нельзя поддаваться слабости: они спят, они ждут от меня... И я свою нитку доведу до конца...

С икон на помощь сходила божья мать... А однажды ночью сошла и сказала:

— Больше не буду помогать тебе. Иди за мною.

К И Т И

ШКОЛЬНИК

В сельской канцелярии ватага беспокойных крикливых женщин. Только жандарм с карабином да старшина спокойно сидят возле стола. За старшиной в уголке на земляном полу сидит оборванный парнишка и оглядывает всех черненькими глазами.

— Чего вы, хозяйки, хотите от этого каверзника?

— Мы хотим, чтоб вы его прибрали к рукам: из-за него ни нам, ни детям нашим нет в селе житья.

Закричали, размахивая руками.

— Да говорите, Тофанко, ведь вы бежали к жандарму.

— А разве вам много надо говорить о нем? Он собирает на лугу мальчишек и кормит их мухами да червяками. У них морды опухают, они плачут по ночам и спать не дают. Дети таскают ему все, что в хате подвернется. Он ест с цыганами тухлое мясо. Такого еще свет не видал. С тех пор как его мать умерла, он одичал, его никто не кормит, никто ночевать не пускает, никто не обстирывает...

Парнишка говорит с пола:

— Вот какая глупая Тофанка! Раз маму зарыли в землю, кто же меня будет кормить да обсти-

рывать? Где что попадет в руки, съем — и сыт, что где стяну с жерди — то и надену. Меня бьют, очень бьют, но я терплю: раз нет матери, должен терпеть.

— Глядите на него! Хоть бы оправдывался, или плакал, или прощения просил, а он еще мудрит...

— Да вы, Тофанко, говорите, что он сделал.

— Вырядила я своего Лукаша в школу, вымыла, накормила, дала чистую рубаху, он чернильницу взял, сумку с книжками да хлеба за пазуху. Я перебираю возле хаты шерсть и ни о чем не думаю. Через час или через полчаса вбегают в ворота такое, как чорт, всякими красками размазанное, и плачет так, что в ушах звенит. Только по голосу узнаю, что это мой. Схватила его на руки, внесла в хату, мою, бью, а он кричит. Рукава и пазуха, видите, как измазаны у меня красками...

Женщины разглядывают пятна на рубахе Тофанки и гадают, можно ли их отстирать.

— Мальчишка охрип от плача и рассказывает, что как шел он в школу, этот разбойник перехватил его на лугу и говорит: «Так и так, Лукаш, сними рубаху, я тебе тело разрисую разными красками, мальчишки будут бегать за тобой и смеяться». Мой снял рубаху, а этот возле пруда разрисовал его разными красками. «А ну, побегай, — говорит, — по лугу, будешь, как мотылек». А сам схватил рубаху, пояс, все остальное и убежал в кукурузу. Оделся там, нацепил сумку и пошел в школу.

После этих слов Тофанка склонилась и хотела бить парнишку, но жандарм заступился за него.

— Я говорю вам, что Тофанка глупая: не понимает, что я не боюсь ее при жандарме и старшине. И на дороге я не боюсь ее: убегу, как ветер. У пруда я тоже не боюсь, потому могу столкнуть в пруд. Я много получил палок, пока набрался

ума. У меня кровь шла из глаз, из ушей, из горла, пока я не набрался ума, пока ноги не стали крепкими. Теперь я могу от кого угодно убежать...

— Это, люди добрые, наказание нам. Вы, старшина, сделайте что-нибудь с этим разбойником. Он нам детей портит. Глядите, как подмигивает. Да он насмехается над нами, у-у, довольный какой!

— Мальчик, у тебя есть дядя, или тетка, или другая родня?

— Да есть, много родни есть. После похорон мамы они забрали вещи, холст и меня взяли к себе, а потом били да выгоняли и не давали есть. Я должен был красть. Пока было тепло, спал во ржи или в кукурузе, а как стало холодно, прятался к скотине в ясли, — у скотины дух горячий, она дышала на меня. А мальчишки выносили есгъ, а учительница дала кафтан, длинный такой...

— Пойди за его теткой, там, под лесом. Скажи, чтоб сейчас же шла сюда, в канцелярию...

— Что вы будете делать с ним? Наказывайте, запирайте его, мы не можем своих детей из хаты выпускать...

— Наказывайте, я выдержу, у меня зад во какой набитый. Глядите, тут всякие палки поприсыхали...

И парнишка, подняв рубаху, показал женщинам свое тело.

— Глядите, глядите, ни стыда, ни срама, — загудели женщины...

— Уже идет его тетка.

Парнишка вмиг очутился между ног жандарма.

— Ой, господин жандарм, эта тетка будет меня бить. Эта крепко бьет. Я в селе все вижу и подметил как-то, что к ней ходит Басок. Как сказал я об этом, она до луга гналась за мною и так ударила меня, что палка мясо вырвала. Она убила бы меня. Женщины ни за что так не злятся, как за слова о том, что к ним кто-то ходит. Я

за это много палок получил, а больше всего от своей тетки. Если украсть рубаху или сало, то женщины не бьют так...

Женщины обернулись к тетке мальчугана, зашептались и стали посмеиваться.

— Господин жандарм, я знаю все, что делается в селе: знаю, где хранится сало; знаю, где ружья закопаны; знаю, где у кого часы стоят, — меня никто в хату не впускает, и я должен ходить да глядеть. Вы можете даже повесить меня. Я видел, как Лесь подвешивал своего мальчишку ногами кверху. Потом к нему приходили жандармы, доктор резал тело, а потом красиво так похоронили его... Вы только этой тетке не давайте меня. Она очень зла на меня из-за того Баска. Если в тюрьму — то в тюрьму, если виселица — то на виселицу, только лучше я сам о себе позабочусь...

СТАРИННАЯ МЕЛОДИЯ

Я и сестра в белых рубахах сидели на печи. Мать, еще очень молодая, ждала братьев. Беломереженные рукава ее радовались, что покрывают крепкое тело.

— Дети, когда придут братья, не шалите и сидите спокойно. Там, за трубой, есть медовики и сахар. Берите сколько угодно, только будьте учтивыми...

Вскоре мы слышали под окнами скрип тяжелых сапог на морозе. Ураган старинной песни вырвался из крепких грудей. Поют коляду о рыцаре, о том, что говорит ему его верный конь:

Продашь ты меня,
Вспомнишь ты меня...

И рассказывает конь своему рыцарю, из каких боев он вынес его — из половецкого, из турецкого, из московского...

Мужественно звучат слова коня из старой песни:

За мною пушки, как гром, гремят...

Пушки эти испугали меня, я подался на середину печи, но от жалости к коню расплакался, и Мария сказала: «Ты все глупый». За это она получила от меня в бок и начала реветь.

Мать едва успокоила нас.

Братья вошли в хату, на столе лежали калачи, такие же большие, как они. Спели колядку матери, спели Марии, а за мною на печи все пушки, как гром, гремят, и я хочу увидеть того коня, — он иной, чем наши, на которых пашут плугом...

— Брат Семен, мы еще споем колядку твоему парнишке.

— Прошу, братья...

Ой, рано-рано Василь встал,
При первой свечке лицо умывал,
При второй свечке жупан надевал,
При третьей свечке коника седлал..."

Я уже чувствовал себя в седле и твердо решил своего коня никому не продавать.

— Иди, благодари братьев.

Отец взял меня с печки, и я целовал каждого из братьев в крепкую руку. За это, как плату, я получал от каждого крейцер, а когда крейцеры не вмещались в ладошке, мать клала их в красный платок.

От поцелуев губы мои вспухли, но я всех перецеловал, и отец отнес меня на печку.

Я заснул счастливым, разронял из кулака братние деньги, но пушки и до сих пор, как гром, гремят за мною...

МАТЬ

Старая Вережиха опиралась на высокую клюку, шла к дочери и думала:

«Осень богатая, воробьи до того сыты, что еле летают, даже дети бедняков потолстели».

— Славайсу.

Села у дочери на скамью и тихо сказала себе: «А ведь красива...»

— Что ты, доченька, делаешь? Почему ты своего мальчишку забыла? Он с дедовых рук не сходит и мешает работать.

Катерина задрожала, как осинный лист перед бурей.

— Доченька, разведи огонь да завари мне того московского чаю: слышала я, он очень помогает. Огонь горит.

— И покажи мне, доченька, подарки, что дал тебе тот важный офицер.

— Ой, мама, я не могу рук поднять, вон там подарки.

Вережиха клюкой снимала шелковые платки да юбки, да маленькие башмачки, да тонкие полотна, а жемчуга, что раскатились по полу, разбивала клюкой. Потом села перед печью и кидала в огонь господские подарки один за другим.

Катерина, белая, как стена, дрожала в углу и, чтоб не упасть, держалась за стол.

— Вот, твое распутство уже сгорело! Если б я могла и тебя влпхнуть в огонь, но стара уже, сил нет. Ведь твой муж где-то обирает с себя вшей да вытягивает из болота пушку, а ты своего ребенка бросила мне на постель, как сука, и милуешься с офицером. Ездишь с ним в колясках, как пава; люди прячутся, когда ты едешь; колеса твоих колясок идут по моему сердцу. Ты заткнула в мои седые волосы смердящий цветок позора...

Огонь погас.

Старуха взобралась на постель и снимала с жердей мереженные вышитые сорочки, коврики, рушники и тонкие полотна.

— Катеринка, награбленный товар пошел дымом, а это твое приданое, оно добывалось чистыми руками, когда ты только появилась на свет...

Мать села на ворох приданого и глядела, как палач, а дочь еще шире раскрыла глаза, огромные, полные греха, но осиянные ласковым небом.

— Жизнь твоя, бедняга, среди нас кончилась, ты всем чужая. Высыпь этот порошок в московский чай — и сразу искупишь грех. Я тебя красиво уберу, а еще красивее похороню, и ты сотрешь позор и с нас, стариков, и со своего ребенка.

Катерина двинулась от постели вдоль стола, вдоль стены и с трудом перешагнула порог. Старуха долго сидела на приданом, затем поднялась, замкнула хату и пошла домой:

— Боже, наказывать имеешь право не только ты, но и я...

В церкви и возле церкви люди обходили Вережиху: она натолкнула Катерину на то, что та повесилась. Старая Вережиха кричала им издали:

— Вот, когда моя Катерина была жива, вы каждый день сотнями приходили говорить мне, что она всему селу позор принесла, что она наилучших



коней с офицером забрала, что она с кого-то требовала деньги, что она распутничает на отнятых перинах и звенит крадеными жемчугами! Мой старик неделями не входил в хату и не мог перед иконами на колени встать, потому что вы всегда набивались в хату, чтоб ногтями расцарапывать наше сердце. А теперь, когда она повисла на ветке, вы стали к ней милосердными! Чего вам от меня еще надо, дикие звери! Если и ребенка ее похороню, сама пойду за нею, шельмы вы...

Накинула на шею веревку и, одинокая, с длинной клюкой, пошла к дому.

ГРЕХ

Касьяниха думает: что же будет? Муж вчера вернулся с фронта, напился воды и спит. Пахнет от него сажей паровозного угля. На лежанке мигает каганец. Возле Касьянихи с одной стороны то и дело раскрывается родившаяся еще перед войной спящая девочка, а сын от русского солдата раз за разом ищет губами грудь. На стене тень ее круглой груди, как гора, а тень губ мальчика похожа на прожорливого змея. Она думает: «Этот мальчишка, как упырь, он высосал всю мою женскую честь, а теперь всю кровь вытянет из меня».

— Что будет, когда муж проснется? То-то будет наматывать эти длинные косы на свои руки, то-то будет волочить мое тело по земле. А потом подтащит к порогу, и тело останется в хате, а голова отлетит в сени, чтоб собаки лизали с нее кровь. Так, сука, будешь искуплять грех. А это мое щенятко пропадет в грязи и позоре. Никто ему рубахи не даст, а если, не дай бог, вырастет, то будет бродить батраком без имени, даже не услышит о своем отце, а тот в широком свете о нем ничего не будет знать. Боже мой, зачем ты меня так тяжело покарал, зачем отнял у меня разум, когда он глядел в мои глаза и запихивал мои косы под шинель за пазуху? Ты, боже, виноват, ты отнял у меня тогда разум. Мигаешь мне ясно-

ми звездами и смеешься. Будь таким же проклятым, как я...

Мать два дня стояла у дверного косяка, печальная, с поруганной честью, а сестры слезами мыли пеленки этому мальчишке. Отец неделями не входил в хату и во дворе ел свой сухой кусок хлеба. Поп в церкви проклинал меня, люди обходили меня. Такой тяжести и скала не выдержала бы! Я в Дунай не бросилась только потому, что ребенок смеялся мне шелковыми глазами...

Она прижала к себе ребенка и продолжала:

— Кто дал бы мне такую силу, чтоб я могла выйти во двор, наострить нож и всадить ему в самое сердце? Ой, боже, ты на грех наводишь, а смыть грех силы не даешь. Не убью я тебя, бедное, хотя что-то толкает на это; сердце мое дрожит, как паутина на ветру. Ох, если б я могла вынуть свое сердце и втиснуть его тебе в горло, чтоб ты умирал с двумя сердцами, а я без единого...

Рассвет.

— Это чей ребенок?

— Да ведь знаешь, что не твой, а только мой.

— Ну что ж, и этого выкормим.

— Нет, я не хочу, чтоб ты моих детей кормил, я сама выкормлю.

Она прижала к себе окаменевшими руками ребенка: ждала, что муж ударит ее топором, и, чтоб не видеть судорог маленьких ручонков, хотела умереть первой.

— Ага, ты не мужик, а баба, ты не шутишь, тебе взаправду легко переносить бесчестье жены...

Ты знаешь, что, как стала я распутной, ко мне в окна стучат все волокиты; я тебе больше не жена, такой жены тебе не надо.

Оставляю тебе Катерину, она большенькая, она твоя, а я пойду прочь с моим ребенком...

Из сундука вынула свое приданое. Взяла себе две сорочки и тулупчик.

— А это пускай остается, — говорит, — Катерине, она очень умная и учтивая, тебе с нею будет хорошо.

Шла с ребенком вдоль улицы.

За нею — мать, и отец, и сестры, и соседи — все кричали:

— Не уходи! Не уходи!

Но она почти бежала, а когда поднялась на холм и увидела высокие горы и светлые реки, глубоко вздохнула, дала сыну грудь и зашептала:

— Грех мой, грех, я тебя искуплю, и ты вырастешь у меня большим, мой сынок...

РОСА

Старый Лазарь до рассвета полел гряды. Пред-рассветные проблески звали солнце на землю. Лазарь потряхивал седыми волосами и, опершись на держак тяпки, улыбался, — он любил брызжащее силой зарождение дня. В полутьме рассвета он рисовал себе будущее своих детей, внуков и правнуков.

Тихо, птицы поют, роса пощипывает ноги. Росу каждый стебель держит на себе радостно, как божье вино.

— Ой, роса, ты щипала меня с детства; возле овец я плакала от тебя. Когда был молодым, идущи от девки, должен был закатывать полотняные штаны, чтоб мать не ругала; а когда стал хозяином и выходил хлеб косить, ты щипала меня, кусала и охраняла от косы каждый стебель, чтоб завтра снова напоить их своим свежим питьем. Осенью ты самая злая, тогда у тебя отбирают всех, кому ты каждый день мыла лицо. Ты как мать, что охраняет своих детей...

Ой, роса, сколько раз я ходил по тебе, сколько раз ты кусала меня, но твои укусы были, как мед, который обжигает и радует. За семьдесят лет я ни разу не пропустил тебя, я всегда выходил ждать ясного солнца, и оно, большое и ласковое, высушивало меня, а тебя, роса, забирало в небо,

чтоб вечером, когда сомлеют все травинки, опять пролить. Ты, боже, поливаешь землю росой так, как мы поливаем рассадник. Эх, божья водица, ты давала крепость и здоровье пшеницам и ржи, но и я был от тебя крепким и бодрым. Очень жалею, что скоро ты не будешь кропить меня, когда ты, святое солнце, взойдешь...

Глянул на свою беленькую хату.

— Э, я из тебя, мой дворец, на цыпочках выхожу, чтоб не разбудить внуков. Они так хорошо спят, так разметались, что грех дверью скрипнуть; у них сон святой, их бог взял на свои колени, они на божьих коленях растут. Старуха встает сейчас же после меня, укрывает детей, ходит тихо, как кошка, и готовит им завтрак. Мой ласковый боже, чем я могу отплатить тебе за твою милость? Ты меня своим солнцем, дождем и бурей долгие годы держал в силе, чтоб мои дети и дети детей жили и росли...

Да, но внуки теперь иные, чем раньше были, — у них и книжки и песни иные. Глупая старуха радуется с ними да строит Украину; сдурела старая с внуками. Они выманивают у нее деньги на театр да на книжки да таскают ее, старую коробку, на свои спектакли в читальнях, а она вернется с ними и радуется, как девка.

— Мой старик, — говорит, — кабы ты видел, какой казак наш Хома; в серой шапке, в синих штанах, люди хлопают ему в ладоши, а он так говорит, как в книжке, рубаха горит на нем... Ой, хотя бы один раз поглядел ты на них!

— Я, — говорю, — стар, чтобы смотреть на такое, и не виноват, что ты с внуками опять деуешь. Ты лучше скажи мне, старая, откуда ты деньги берешь на эти шапки, да на синее сукно, да на огненные рубахи? Ведь ты слепая, как крот, ведь не

гы вышла им... С тех пор как ты рехнулась с этой Украиной, у меня деньги в кошеле все тают и тают.

Но внуки не пьют, не гуляют и в корчму не ходят, а гудят, как пчелы: Украина, Украина. Маленький Кирило подходит ко мне, как к ребенку: «Дед, дед, я прочитаю тебе такое красивое...»

И читает! Хорошо там написано, но я грамоте не знаю, а все-таки сажусь по его детской воле с ним и поддакиваю.

Они у меня скромные, пускай бог благословит их с их надеждами. Они хотят нового, на то они и молодые.

От этих мыслей Лазаря оторвали солнце — оно взшло, как золото, — и старуха, которая звала к завтраку.

— Ты, вечное солнце, ты вновь благословляешь меня на завтрак. Я уже слабый, росе — твоей дочке — уже нечего пить с меня, — одни кости. Но у меня много внуков... Росе есть кого осыпать своими жемчугами. А ты, мать наша, ясное солнышко, благослови всех их на завтрак.

Старый Лазарь росяным листком вытер мокрые глаза и пошел в хату к внукам.

АВТОБИОГРАФИЯ

Мой отец — Семен, а мать — Оксана умерли, умерли и сестры мои — Мария, старше меня на два года, и Параска, и мои братики — Юрий и Владимир. От мачехи живы четыре сестры и один брат. Моя жена — Ольга — умерла в начале 1914 года и оставила мне трех парней: Семена, теперь студента, да Кирилла и Юрия, гимназистов в Коломые. Я остался вдовцом.

Это прошлое и теперешнее моей семьи в числах.

Еще ребенком, из разговоров родителей, знал я, что должен идти в школу. Мой отец, зажиточный мужик, был в близких отношениях с местным помещиком Иосифом Теодоровичем. По тому времени это был хороший человек, друг селян, участник восстания Гарибальди и польского восстания 1863 года. Он и уговорил отца отдать меня, старшего сына, в школу. Основанием для этого было то, что парень, мол, очень хорошо заучивает «отченаши», т. е. молитвы. С этими «отченашами» у меня и у моей сестры Марии было много хлопот.

В будни мать тяжело работала, мы с сестрой вечером пригоняли с поля скотину и сразу засыпали, — нас с трудом поднимали к ужину, а уж заставить повторять вслед за матерью вечерние молитвы совсем было невозможно. Но моя бедная мать нашла выход: каждое воскресенье, перед вечером, мы сразу повторяли за нею семь предлин-

ных молитв, чтобы хватило до следующего воскресенья. Стоять на коленях было тяжело, и мать, после долгих торгов, позволила нам подкладывать под колени тулуп. После молитв мы получали награду — лепешек или по куску сахара — и до ночи играли с детьми на выгоне. Такая забота была с богом, но еще горше было с чортом.

У нас было много работников, пожилых и молодых, и я жил с ними всегда в большой дружбе, таскал им отцов табак и все, что они просили. За это они рассказывали мне сказки и показывали места, где почуют ведьмы и упыри, где появлялись мертвецы и где сидели заправские черти.

«Ты только притворись, что спишь, и жди, пока мать будет ложиться спать, тогда, наверное, увидишь, как она в тарелках готовит чертям несоленую пишу».

Само собой, я ни разу не мог дожидаться, когда мать ляжет спать: засыпал раньше, чем она, и не видел ничего. Мне было жалко мать за то, что она опекает такую погань, а ее набожности, от которой у меня болели колени, я не понимал. Хуже всего было, когда мой отец поставил в риге молотилку. Там наплодилось будто бы такое множество чертей, что прохожие ночью далеко обходили наш двор. Мне, маленькому, стало так тесно, что я и днем не находил места для игры: всюду мерещились черти и ведьмы.

Наконец я заплакал и отважился сказать матери, чтоб она не кормила по ночам чертей, что я со страху уже не могу выйти во двор. Мать рассказала об этом отцу, тот расспросил меня и стыдил работников за то, что они «страшают ребенка». И в сельской школе, когда меня отдали туда, мне часто чудились чертяки, и моя мать ходила к учителю и просила его разъяснить ученикам, что в школе никакой нечистой силы нет.

Позже, лет через десять, мы с Мартовичем ехали на станцию Залуч, чтобы поездом добраться до Коломыи, где оба учились в гимназии. Вез нас Проць, работник, пожилой уже. Был вечер, и Мартович, как всегда, начал искать тему для веселого разговора. Он говорил Процю, что мой отец имеет приятеля чорта и дал мне маленького

чортика, чтоб тот прислуживал в городе, помогал учиться и обманывать учителей. Всю дорогу Мартович весьма подробно описывал Процю характер, внешность, дневные и ночные занятия маленького чортика. С Мартовичем, как обычно, было весело. К Пруту, который надо было переезжать в брод, мы подъехали ночью. И тут Проць решительно заявил нам, что если мы у него на глазах по три раза не перекрестимся, он не пойдет в воду. Мартович ревел от радости, и мы вынуждены были креститься. В Коломые все товарищи знали, как мы переходили Прут.

Из сельской школы в Русове я перешел в уездную школу в Снятине, что в восьми километрах от Русова. Здесь я почувствовал презрение учителей и ко мне, и ко всему крестьянскому.

Здесь меня начали бить, а дома родители никогда не били меня. Окончив школу в Снятине, я поехал с отцом сдавать экзамен в Коломыйскую гимназию. Моя мать потихоньку, чтобы не слышал отец, советовала мне не учиться и возвращаться домой. До сих пор жалею, что не послушал ее.

В большом зале первого класса польской гимназии в Коломые мы, сельские подростки, заняли последнюю парту. Соученики в лакированных сапожках издевались и насмехались над нами. А когда учитель немецкого языка сказал мне по-польски: «Иди, хам, свиной пасти», весь класс гоготал. Профессор естественной истории Вайгель бил меня тростью по рукам за то, что я не мог дотянуться рукою до картинки с нарисованной гиеной: картинка висела высоко, а я был мал. Позже этот же учитель тростью поднял на мне спадавшую поверх штанов рубаху и показал классу мое голое тело. Класс ревел от удовольствия, и я тотчас же ушел домой.

Под плетнем у дома, где я жил, сидела слепая нищенка Павлина, — она целые дни попрошайничала, а на ночь моя хозяйка пускала ее в кухню ночевать. Лишь ей одной рассказал я о своем горе, и она, чтоб утешить меня, достала из своей сумы яблоко и дала несколько мелких монет на карамельки.

Вечером в кухне она рассказала хозяйке, что случилось со мною в школе, и они написали отцу, чтоб тот приехал. Отец жаловался на учителей директору гимназии, а мне справил господскую одежду. Сукно, должно быть, было не первого сорта, я не мог выносить его запаха и очень высоко держал голову. Когда я в новой одежде явился в класс, меня встретили ураганом насмешек, и я с трудом дошел до последней парты. Ни до этого случая, ни после я не испытывал более жгучего стыда, и мне кажется теперь, что, не отрави меня этот стыд, я был бы другим человеком.

От слепой Павлины я узнал, что где-то неподалеку от нас живет швея, которая ни в бога не верит, ни господ не признает и хочет, чтоб все люди были равны.

Я разыскал жилище этой страшной швеи, увидел ее и немного струсил: это была товарищ Павлик, известная по скандальным для австрийского правосудия социалистическим процессам восьмидесятых годов прошлого столетия.

Несколько месяцев мне помогал учиться Иван Плешкан, старший гимназист из соседнего села. Он дал мне читать «Марусю» Квитко. Этой «Маруси», кроме нескольких первых страниц, я и до сих пор не прочитал, хотя тогда за неп прочтенне ее получил хорошую затрещину. В третьем классе я прочитал повесть Мирного и Билика «Разве ревут волы, когда ясли полны».

Когда я был во втором классе, отец поселил меня на квартире некоего Гомаша. Я с хозяевами сидел на кухне, а передние две комнаты занимали какие-то барышни. Я им приносил пиво и водку, и они давали мне за это конфеты. Спустя полгода меня навестил Теодорович и сразу же забрал меня к себе в гостиницу, а господина Гомаша стыдил. Я лишь потом узнал, что жил в тайном доме разврата. И все-таки несчастные девушки этого дома были ласковы со мною, значительно ласковее, чем все учителя.

Еще в первых классах гимназии я близко сошелся с Лесем Мартовичем и Львом Бачинским. Мартович был чрезвычайно способным. Уже в 4-м классе гимназии он писал стихи, полные злобы и насмешек, об учителях и боге. Лев

Бачинский был спокойным, серьезным, и все слова его точно соответствовали его поступкам. Таким он, наилучший среди галичан оратор, и остался.

С ними я, менее способный, дружил и принадлежал к тайному ученическому кружку. Собирались мы за городом: читали рефераты, устраивали складчину на подписку новых книг, газет и журналов. Библиотека кружка состояла из 400 томов в большинстве украинских книг, но были и польские и русские.

В 4-м классе мы на общие деньги приобрели два огромных тома сочинений Глеба Успенского на русском языке. Не знаю, прочитал ли кто из моих товарищей Успенского, но я в течение двух лет не разлучался с ним и, хотя мне трудно было понимать жаргон «Растеряевой улицы», прочитал его. Он оказал на меня в гимназии наибольшее влияние.

Гимназия, кроме казенной учебы да враждебного к нам — ученикам-украинцам — отношения, ничего не давала.

Мы ушли в свое тайное товарищество, а когда немного подготовились, каждое воскресенье, каждый праздник ходили читать доклады в читальнях или закладывали новые читальни. Работа эта привела к тому, что меня вместе со многими другими выгнали из Коломыйской гимназии, и седьмой класс я проходил в Дрогобыче. Здесь директором гимназии был известный украинский деятель восьмидесятых годов — Александр Борковский. Он часто заходил к нам с Мартовичем на квартиру и, видя у нас, кроме сочинений Франко и Драгоманова, заграничную социалистическую литературу, спорил с нами, стараясь выбить из наших голов социалистические идеи.

Мать моего товарища по гимназии — Гиберманова — много рассказывала мне об Иване Франко. Она говорила, между прочим, что другой такой, как у него, головы в Австрии нет, что он давно мог бы стать министром, если бы не социализм, которому он служил. В то время Франко с семьей жил в селе Нагуевичи, под Дрогобычем. Первый раз я увидел его с большой корзиной подмышкой на базаре в Дрогобыче. Через несколько дней я пошел в Нагуевичи и от пастухов узнал, что «Ясь ловит в речке

рыбу». Я с берега представился ему, и он попросил меня носить за ним кошелку с рыбой. Он выхватывал рыбу из воды руками без всяких приспособлений. Когда кошелка наполнилась, он вышел на берег, и мы пошли к большой хате, чистой, хорошо расположенной, с просторными пристройками. За ужином мы съели много рыбы, после ужина он играл с детьми и читал корректуру сборника своих рассказов «В поте чела». Так я впервые познакомился с Иваном Франко, с которым всю жизнь поддерживал самые дружеские отношения и которого, может быть единственного из больших украинских писателей, любил крепче всех.

В 1892 году я сдал в Дрогобыче экзамен на аттестат зрелости и в том же году осенью уехал в Краков учиться медицине. С медициной ничего хорошего у меня не вышло: я не любил ее и мучить больных всякими выстукиваниями и выслушиваниями не мог...

Здесь я познакомился и сдружился с Вацлавом Морачевским и его женою Софьей (урожденной Окуневской). Они приехали из Цюриха, оба высокообразованные люди, и я через них знакомился с широкими европейскими взглядами на мир. В университете они оказали на меня сильное влияние. В Кракове я сдружился также с поэтом Богданом Лепким — едва ли не самым нежным, какого я в жизни встречал, человеком. Из польских писателей и поэтов я наиболее близок был со Станиславом Пшибышевским и Владиславом Орканом. С Выспянским, Каспровичем и Тетмаэрами я тоже был хорошо знаком и встречался с ними в редакции «Житье». Кроме того, я принимал живое участие в деятельности польской партии социалистической и близко сошелся с Игнатом Дашинским.

Из Кракова после неудач с медициной я вернулся в Русов и проживаю здесь до сих пор.

В 1904 г. я женился на дочери моего приятеля Кирилла Гаморака и жил у него в Стецевой до 1910 г.

С 1908 до 1918 г. я был депутатом в австрийском парламенте, где никаких речей не произносил, ибо парламентские выступления моих товарищей по скамье за малы-

ми исключениями были так скандальны, что я предпочитал молчать и стыдиться за других, чтоб не стыдиться за самого себя.

Два раза я был на Украине. Первый раз в 1903 г., в Полтаве, на Котляревских торжествах, где познакомился с молодыми писателями. Второй раз был в Киеве в начале 1919 г., при директории. Не знаю почему, но украинцы Великой Украины душе моей ближе, чем галичане.

Писать я начал очень рано, еще в гимназии, но огромный талант Мартовича прямо парализовал меня, и я никогда не признавался в том, что пишу.

В университетские годы мои маленькие наброски пропадали в украинских редакциях Галиции. Только в 1899 г. Вячеслав Будзиновский впервые напечатал несколько моих миниатюр в журнале «Праця». Остальные мои рассказы читатели знают. Родился я 14 мая 1871 года и до сих пор написал очень мало.

Русов, 9 февраля 1926 г.

ЗАМЕТКИ К БИОГРАФИИ В. СТЕФАНИКА

I

Автобиография Василя Стефаника, написанная для советских читателей, явно оборвана им на полуслове. То ли он не хотел говорить о том, что ему пришлось пережить, то ли он с напечатанием своего первого сборника (1899 г.) считал свою жизнь законченной. Ударами, которые едва не свели его преждевременно в могилу, были — конфликт с отцом, смерть матери, конец медицинской карьеры и, наконец, как это ни странно, его творчество.

Отец В. Стефаника, богатый крестьянин, неодобрительно относился к тому, что его сын стоит на стороне бедноты, организует читальни, выступает против панов. Эти поступки не могли уложиться в его голове, и он делал сыну выговоры, пытаясь наставить его на «праведный путь». Но это не помогало. Конфликт с отцом обострялся у В. Стефаника из-за матери, которую он очень любил и которую отцовское мужицкое богатство довело до тяжелой болезни. В рассказе «Поджигатель», героем которого, возможно, является отец В. Стефаника, говорится: «Они тянули неотесанное и тяжкое ярмо мужицкого богатства, которое никогда не дает ни покоя, ни радости. Сам богач горше всех томился в этом ярме, больше всех проклинал свою долю и беспрестанно погонял своих детей и батраков».

Когда В. Стефаника исключили из Коломыйской гимназии, отец грозил, что заберет его из школы и наложит

на него свою тяжелую руку. Но сын упрямо шел раз избранным путем. В 1892 году он выдерживает испытания на аттестат зрелости, и в его жизни начинается самый интересный период — он поступает в университет, окончательно уясняет силу своего таланта и становится писателем.

В первые три года пребывания в Кракове В. Стефаник живет главным образом среди товарищей, галицийских украинцев. Его приятели — Сафат Шмигер, Андрей Шмигельский, Иван Филиппович, студенты-медики, были, как и он, горячими социалистами. В 1894 году, во время концерта в честь Т. Г. Шевченко, на котором В. Стефаник произнес речь, с ним познакомились два молодых человека: врач Вячеслав Морачевский и его жена Софья Окуневская-Морачевская, украинка, первая в Австрии женщина-врач.

Это знакомство потом перешло в крепкую, до самой смерти, дружбу. Морачевские полюбили молодого студента. Им он, чуть ли не впервые в жизни, раскрывает тайны своего сердца. Когда молодые приятели уезжают, он в письмах рассказывает им, что волнует его, рассказывает на украинском языке, стилем, который и сегодня не заставил бы краснеть известного художника В. Стефаника.

Под их влиянием и по их совету В. Стефаник знакомится с европейской литературой и обстоятельно изучает ее.

В студенческие годы В. Стефаника Краков становился центром молодой польской литературы. При содействии Морачевских В. Стефаник знакомится с польскими писателями, в том числе с С. Выспянским, И. Каспровичем, К. Тетмаэром, В. Реймонтом, С. Бжозовским и сближается с С. Пшибышевским и В. Орканом. Так В. Стефаник входит в польскую литературную среду, и здесь его талант окончательно отшлифовывается. С. Пшибышевский и его друзья-декаденты не имели влияния на литературное творчество В. Стефаника, но в автобиографическом рассказе «Сердце» он отмечает: «Станислав Пшибышевский и его знаменитые друзья научили меня уважать искусство».

Вращаясь в литературной среде, В. Стефаник ни на минуту не забывает о несчастном западноукраинском селе. Очень часто, когда через станцию Краков проезжают укра-

инские крестьяне-эмигранты по пути в далекую Канаду, он заходит к ним и, чем может, помогает. Так родились впечатления, на основе которых В. Стефаник пишет позднее свой рассказ «Каменный крест». Вместе с тем он так увлекается мыслью стать в литературе защитником крестьян, что забывает о своих занятиях медициной.

В университетские годы В. Стефаник становится членом наиболее революционной в то время украинской радикальной партии, созданной И. Франко и М. Павлик. Он принимает живое участие в пропаганде социалистических идей среди польских рабочих, часто выезжает на агитационную работу в села Галиции, что и приводит к его аресту в Коломые. Об этом факте он упоминает в письме к Морачевскому от 16 августа 1895 года: «Со вчерашнего дня я на свободе. Сказали, что процесса нельзя создать, а мне 13 дней тюрьмы хватит, чтоб я больше не совал носа в тернии агитации. Ошиблись, я уже вчера был на собрании и сегодня еще пойду, чтоб показать крестьянам, что за «бунтарство» не гниют долго в тюрьме». В ту пору В. Стефаник настроен очень активно, и его не пугают случаи убийства крестьян австрийской полицией: «Я через несколько дней был в селах, чтоб говорить крестьянам, что кровь красная черной земле по весне не вредит».

Твердость В. Стефаника все больше усиливает негодование его отца: уменьшается и, наконец, совсем прекращается денежная помощь. В. Стефаник возмущен, хочет порвать сношения с отцом, но из-за больной матери не решается на это «Я был в Русове, — пишет он в письме к своему приятелю. — Моя мать очень больна. Отец впрямую меня, говорит: ты своим радикальством и арестами загонишь мать в гроб. Разумеется, в нем говорит злоба на меня за то, что я пошел не по стопам разбойника-богача, а по стопам любимой матери». Так представлял В. Стефаник свою дорогу в мире, дорогу, по которой всю жизнь шла его мать. Почти всегда образ женщины-матери в его рассказах — это образ его матери или его несчастной сестры Марии. О своей матери, уже умирающей, он писал в письме: «Вдруг меня поразило лицо матери. Казалось мне, что

оно прикрито пеленою, сквозь которую трудно было разглядеть душу человеческую. Теперь пелена тяжелой работы и напряжения упала, и черты стали чистыми. Так и глядит из них любовь».

Смерть матери — 1 января 1900 г. — это самый тяжкий удар для В. Стефаника. Он порывает с отцом (который через полгода после смерти жены женится вторично) и остается без средств, без звания, без надежд. В это время здоровье его надламывается, и он впадает в легкое нервное расстройство. «Я теперь очень одинок, — жалуется он в письме, — и на меня опускается черная туча каких-то больших крыльев и закрывает все...»

Причин, которые довели В. Стефаника, человека впечатлительного, но твердого, до болезни, было много, и главной из них являлась его изнуряющая творческая работа. Надо знать, что в 1896—1900 гг. он написал две трети своих рассказов, множество писем, имеющих большую художественную ценность.

Создавая свои рассказы, В. Стефаник волновался, слезы градом катились по его лицу, он рвал на себе волосы. Он глубоко переживал страдания своих героев и сливался с ними так, словно писал не о них, а о себе. В этом ему способствовали и его крестьянское происхождение, и его глубоко-крестьянская психика, которой не могло вытравить из его крепкой индивидуальности почти двадцатилетнее пребывание в больших и малых городах. Ярче всего об этом свидетельствует фрагмент его речи, которую он произнес в 1926 году: «Я писал о том, о чем сердце пело. И половину того, что написал я, если б мог, вычеркнул бы. Говорят, я пессимист. Но это неправда! Я оптимист! Я рисовал настроения деревни и все то страшное, что есть в ней и что так мучает меня. Я писал в горе, и кровь моя смешивалась со слезами. Но если я нашел в ваших душах, — В. Стефаник обращался к крестьянам, — слова, которые могут греметь, как гром, и сверкать, как звезды, то это оптимизм...»

С 1900 до 1904 г. В. Стефаник, разбитый психически, живет у приятелей, а позже снимает комнату в крестьянской

хате в Русове и живет одинокий, всеми покинутый. Его попытки получить какую-либо должность кончаются неудачей: австрийские власти и украинская клерикально-буржуазная верхушка считают его учеником Франко и Павлик и опасным социалистом. Он чувствует, что жизнь течет в стороне от него, как бы без него. Пребывание в деревне постепенно возвращает ему утраченное равновесие. В 1904 году он, вновь крепкий и суровый к себе, с большим трудом занимает денег и с галицийской делегацией едет на всеукраинские торжества — на открытие памятника Котляревскому в Полтаве. На Украине он знакомится с выдающимися украинскими писателями, в их числе с М. Коцюбинским, Лесей Украинкой и другими. Из Канева он пишет 21 сентября 1903 года открытку Ольге Гаморак: «Я сегодня с Иваном Стешенком провел целый день на могиле Шевченко. Днепр внизу течет в Черное море, за Днепром левобережная Украина раскинулась лесами и степями, а там — поля и синяя мгла уходят в Московщину. Вот место, откуда я поклонился всей Украине. В Петербурге нет Горького, поэтому я возвращаюсь». Последние слова показывают, как сильно хотел В. Стефаник познакомиться с М. Горьким. Только через семь лет, при посредстве Коцюбинского, ему удастся лично познакомиться с М. Горьким, когда оба они проезжали через Вену на Капри. Об этой встрече В. Стефаник потом часто вспоминает.

Творческий огонь, которым горел В. Стефаник, погасал. Он создал еще несколько рассказов, в том числе психологический этюд «Басарабы», но это уже конец. Он видит, что его слово, сильное и трагичное, нигде не находит отклика. До крестьян оно не доходит, а если в исключительных случаях дойдет, то крестьянам кажется, что оно смеется над ними; интеллигенты его не читают, а если и прочитают один-два рассказа, то говорят, что он, В. Стефаник, «плачет над мужиками». Его книжек никто не покупает, и они годами лежат на пыльных полках книжных магазинов. Для кого творить и зачем творить? В. Стефаник перестает верить в свое слово, в нем зарождается общественный деятель.

В 1904 году В. Стефаник женится на Ольге Гаморак, своей хорошей приятельнице с гимназической поры. Он селится с женою в доме тестя, Кирилла Гаморак, и берет в свои молодые руки управление его хозяйством. Он не только хороший новеллист, но и хороший хозяин. Он сам пашет и сеет, за всем присматривает. Из соседнего села отец поглядывает на него, радуется, что сын хороший хозяин, и досадует: почему его сын хозяйствует на чужом поле? Он зовет сына к себе, дает ему 16 моргов земли и обещает помочь при постройке дома. Сын соглашается: у него на плечах большие обязанности: жена, два сына, третий должен родиться. В 1909 году В. Стефаник с женою и тремя сыновьями переселяется в свой родной Русов, в тяжелых материальных условиях строит свой «палац» и в 1910 году переходит в свою хату, на свое хозяйство.

На свадьбе В. Стефаника, во Львове, были его близкие друзья и среди них Иван Франко. Все желают ему, кроме обычных благ, буйного расцвета его таланта. М. Коцюбинский пишет с далекой Украины: «Нам не надо Вашей политики, пишите новеллы». В. Стефаник выслушивает пожелания, но идет своей дорогой. «Кого, за исключением эстетов и литературоведов, интересует мое слово? — думает он. — Нужно дело, нужно распутать черную паутину, что оплела село». С огромным упорством он берется за работу.

Поле его деятельности — Покутье. Он основывает читальни, организует крестьянские стачки, агитирует на выборах, произносит сотни горячих речей на митингах, концертах, собраниях. В 1908 году крестьяне выбирают его от украинской радикальной партии своим депутатом в австрийский парламент, и он сохраняет этот мандат до развала Австрии в 1918 году. Своего депутатства он всю жизнь стыдится, и это находит подтверждение в автобиографическом рассказе «Славайсу»: «Общее голосование. Я выставлен кандидатом от радикальной партии в Венский парламент. Вынужден произносить кандидатские речи, — пусть мне боги простят этот великий грех! — и становлюсь депутатом».

Участие В. Стефаника в радикальной партии скорее формальное, чем органическое. Он никогда не придавал этой партии большого значения. Эта партия для него — орудие, с помощью которого можно было сделать что-нибудь хорошее для нищей крестьянской массы и облегчить ее долю. Лишь это, а не что-нибудь другое для него было важно.

В этот долгий период литературного молчания В. Стефаник все же находил выход своему слову. Сохранилась одна небольшая фотография, на которой В. Стефаник стоит на кургане Т. Шевченко (во всех селах Западной Украины крестьяне насыпали в честь Т. Шевченко высокие курганы) — стоит с поднятыми вверх руками, окруженный тысячами крестьян, и произносит речь. Это типично для В. Стефаника того времени. В его речах, о которых еще и теперь восторженно вспоминают люди, выливалась вся сила его поэтического слова. Примером может служить отрывок из речи, которую он в 1909 году произнес, обращаясь к русовским крестьянам: «А я уж столько бил головою о стену вашего упрямства, но стена стоит, как стояла, а я хожу с разбитой головой и окровавленным сердцем. И нам, кто любит вас и работает для вас, остается одно: или из вас, крестьян, сделаем народ, или упадем». Его речи коротки, как и новеллы, выражения ясны, образны.

В 1904 году, когда В. Стефаник остался на постоянное жительство в Стецевой, Покутье привыкает к нему, как к другу и защитнику. Из всех окрестных и даже отдаленных сел приходят к нему бедные крестьяне и крестьянки со своими болями и заботами. Днем и ночью дверь его хаты не запирается, в хате и во дворе всегда народ. И так целые годы. Он дает крестьянам советы, лечит их своими лекарствами, пишет, когда надо, письма своим приятелям-врачам, чтобы бесплатно лечили его хворых посланцев, бегают по судам, по податным управлениям, старостатам, чтобы защитить крестьян от напасти. Но больше всего его волнует участь бедных крестьянских детей, которые что-нибудь украли с голодухи — ведь есть надо, — и несчастных девушек-покрыток, которые родили детей вне замужества.

В. Стефаник, будучи глубоко честным и моральным человеком, не признает буржуазной морали, — для него глаза этих «грешников и грешниц» — по его словам — «полны греха, но озарены ласковым небом».

Так день за днем, год за годом ездит он по городам, докучает друзьям и недругам, ибо... «надо как-то выручать людей из беды».

С крестьянами В. Стефаник не слащав, а резок, особенно с теми, кто ссорится в семье или судится из-за межи. Он кричит, стыдит, сердится, но крестьяне знают — посердится, а все-таки поможет. Все паны, подпанки, всякие чиновники и иные хапуги думали, что В. Стефаник берет деньги с крестьян за помощь, а когда узнавали, что это не так, считали его сумасшедшим. Если б можно было собрать хотя бы часть писем, какие В. Стефаник за все годы написал сотням разных влиятельных людей, какое это было бы доказательство, что родных — своих подзащитных он называет племянниками, племянницами, вообще кровными — у него было не сотни, а тысячи и не только в Русове, но и во всем Покутье.

В 1912 году здоровье жены В. Стефаника надрывается, и в жестоком 1914 году она умирает, оставляя трех малых ребятишек, старшему из которых еще не было десяти лет. Для В. Стефаника это было большим ударом. На помощь ему приходит сестра его жены, Олена Плешкан, которая, выполняя последнее желание покойной сестры, берет детей под свою опеку.

III

Горечь утраты заглушили пушки и ужасы первой империалистической войны. В. Стефаника, как депутата парламента, освобождают от воинских обязанностей.

Во время первой оккупации Галиции войсками царской России В. Стефаник остается в Русове, прячется от царской военной полиции у приятелей и знакомых, а также в доме своего близкого друга Марка Черемшины, украинского писателя и адвоката в Снятине. В середине 1915 года, когда царская армия отступила, австрийские военные

власти арестовывают В. Стефаника как шпиона и едва не расстреливают его. Выручает его хладнокровие, тонкое искусство беседы и знание людской психологии — качества, благодаря которым он часто помогал другим.

При второй оккупации Галиции царскими войсками В. Стефаник, наученный горьким опытом, уходит с австрийской армией и в 1916 году добирается до Вены. Лишь обрывки ужасных испытаний, какие ему пришлось пережить в дороге, попадают позднее в его рассказы. В Вене после пятнадцатилетнего молчания в нем вновь «родилось слово». Война так крепко всколыхнула его талант и сердце, что он не мог не поднять своего громкого голоса против ужасного в своих последствиях военного сумасшествия.

Во время годичного пребывания в Вене В. Стефаник жил в одной комнате со своим старым знакомым и приятелем Ярославом Веселовским, по профессии журналистом. Веселовский жить не давал В. Стефанику, все требовал: «Пиши да пиши». А когда Веселовскому было поручено редактирование военного календаря для украинских читателей, между приятелями на этой почве возникает ссора, которая кончилась таким условием: Веселовский на всю ночь покидает комнату, покупает водки и какой-нибудь еды. В. Стефаник может все это съесть и выпить, но обязан написать... рассказ. Утром Веселовский застаёт В. Стефаника утомленным, бледным, как смерть, пол вокруг него забросан клочками бумаги, лишь частично исписанной, водки нет, а на столе лежит несколько исписанных страничек — рассказ готов.

Так написал В. Стефаник рассказ «Мария», которым открывается военный и послевоенный период его творчества. В новых рассказах сила его слова не снизилась, а окрепла. Его критическое отношение к своему творчеству, сильное и раньше, крепнет. Его слово с каждым разом короче и с каждым разом жестче.

В 1917 году В. Стефаник возвратился в Русов, и его трудно было узнать: он поседел, состарился. Сказались и тяжелые военные переживания, и тоска по детям, которые маленькими оставались во фронтовой полосе, и возродив-

шее слово, которое снова не давало ему жить. Рядом горит свет — доходят вести о революции в России.

После развала Австрии в 1918 году В. Стефаника как депутата австрийского парламента вызывают во Львов в национальную раду вновь созданной Западноукраинской республики. Под градом польских пуль вместе с другими депутатами он бежит из Львова в Станиславов. Отсюда в январе 1919 года его посылают с делегацией на торжество соединения Восточной и Западной Украины в Киев. В дороге и в Киеве он наблюдает события, которые наполняют его страхом и отвращением. Он скоро возвращается в Русов, застаёт у себя в хате крестьян, которые ждут вестей с далекой Украины и гремит, как гром: это не та Украина, какую он долгими годами мечтал увидеть!

Оккупация Западной Украины польскими войсками застаёт его в Русове. Он уже не депутат, польские власти кое-как терпят его. Последние надежды на освобождение из ярма польской шляхты рушатся после постановления совета послов в 1923 году. Приходится доживать век в новых, более гнетущих политических условиях. Польская жандармская власть с каждым годом все туже затягивает петлю на шее западноукраинского народа.

В таких условиях вновь крепнет творчество В. Стефаника, оживляется его общественная деятельность. Крестьяне не забыли о нем: он уже не официальное лицо, но потребность в его помощи не стала меньше. «Я стал главою отделения «Сельского господаря», главою отделения «Просвещения», главою уездного правления радикальной партии и еще не мало «голов» было у меня на шее», — рассказывает В. Стефаник о первых послевоенных годах в автобиографическом рассказе «Славайсу». Это лишь часть деятельности В. Стефаника. Он не доктор, а лечит крестьян-бедняков; не адвокат, а дает им советы и помогает своими связями через друзей молодых лет. Но помочь можно лишь единицам, а весь народ все больше и больше страдает от польской шляхты.

Все послевоенное творчество В. Стефаника — это сплошной громкий протест против бесчинства шляхты, вкованный

художественное слово. Он воспевае героическую борьбу западных украинцев против польского насилия и показывает социальную нужду, которая с приходом польской власти стала еще глубже.

В первые годы после войны он переживает ряд тяжелых горестей. Умирают оба брата, умирает отец, из всей семьи он остается один. Протестуя против польской колонизации, В. Стефаник пишет рассказ «Земля», который посвящает своему отцу. Уже после смерти отца он находит в нем одну положительную черту, которая в новых обстоятельствах приобрела большое значение, — это слепая, неосознанная любовь к земле. Его небольшое хозяйство в условиях польской экономики едва кормит семью, но он не падает духом.

В 1924 году ему удается наладить связь с литературными кругами Советской Украины. Он с радостью приглядывается к расцвету культуры в Советской Украине, ликует, когда его сочинения переиздаются там. Одновременно с этим улучшается и его материальное положение. За свои издания в Государственном издательстве Украинской ССР он получает такой высокий гонорар, о каком никогда и думать не смел. Раз или два раза в году он выезжает на несколько дней во Львов, заходит в советское консульство, возвращается домой счастливым, довольным и с увлечением рассказывает о великом строительстве по ту сторону Збруча. В 1928 году, когда правительство Украинской ССР назначает ему большую пожизненную пенсию, он переживает наибольшую в его жизни радость. Материальные заботы, которые всю жизнь докучали ему, отходят в прошлое, он чувствует себя не провинциальным галицийским писателем, которого никто не читает, а писателем великой социалистической Украины. Посылая свои рассказы в украинские советские журналы, он включает себя в строительство новой жизни и новой культуры.

Польские власти косятся на дружеские взаимоотношения В. Стефаника с литературными деятелями Советской Украины. В 1927 году он просит выдать ему паспорт на выезд в УССР, куда его пригласил народный комиссариат просвещения, но уездные и воеводские власти отказывают ему

в этом. Это было большим ударом для В. Стефаника: он хотел перед смертью еще раз увидеть свою великую отчизну, вольную и счастливую. Начинаются систематические притеснения В. Стефаника польскими властями. Осенью 1927 года арестовывают его сыновей за стремление «присоединить неотделимую часть державы, западную Малопольшу (это, на языке польских захватчиков, Западная Украина), к Советскому Союзу». В. Стефаник тяжело переживает это событие. После года предварительного заключения его сыновей освобождают, но на этом преследования не кончаются. Польская полиция производит в его доме, в Русове, частые обыски, его сыновей вновь арестовывают, но уже на более короткий срок. По этим причинам связи В. Стефаника с Советской Украиной в 1932 году прерываются. В это время он уже тяжело болен.

В январе 1929 года паралич омертвил правую часть его тела. После нескольких месяцев пребывания в постели он поднимается, но хромает, едва ходит, — это он-то, который никогда не умел ходить медленно и перебегал с места на место, как ветер. Когда молодой врач во Львове сказал ему, что его здоровье очень слабо и смерть может прийти каждую минуту, он воскликнул: «Врешь!» Он так любил жизнь, так не хотел идти в «подземелья светлый тайник». Но артериосклероз все сильнее сковывает его крепкое тело.

Он тяжело переносит приступы сердечных болей и особенно страдает от приливов крови к голове. Но он строг к себе, как и в молодые годы. Когда голова его раскалывается от боли, он забирается в овин и там в одиночестве просиживает долгие часы.

К физическим болям присоединяются боли моральные. По селам носится польская полиция, убивает невинных крестьян, грабит и разоряет их. Когда «пацификация» — так официально назывались вооруженные нападения польской полиции на украинские села — докатывается до Русова, В. Стефанику советуют бежать, но он с усмешкой говорит: «Нет! Могут меня убить, а села я не оставляю». Но его не трогают, — польская солдатня боится оскорбить украинского писателя.

Материальное положение В. Стефаника заметно ухудшается. Болезнь требует много средств, а средств нет. Исидит он в Русове, больной, забытый всеми. Медленно приближается конец. Сердце бьется все слабее, ноги врастают в землю, и он едва таскает их за собою. И слово покидает его. Он, так хорошо и крепко умевший говорить, все чаще забывает слова и с трудом складывает фразы. В мае 1935 года, возвратившись из Львова, он говорит своей приятельнице и сестре своей покойной жены О. Плешкан: «Какой я слабый, какой я калека, но до своей могилы я еще способен дойти». Он усмехается и сквозь окно глядит на высокую кладбищенскую ограду, за которой похоронена его мать.

Последние месяцы его жизни — это сплошная полоса страданий. В хате усидеть он не может. Просит одеть его в старый, поношенный плащ, медленным шагом, с палочкой, идет к овину и садится там на свою скамейку. Поздней осенью 1936 г. он простудился на этой скамейке. Простуда перешла в тяжелое воспаление легких. Он теряет сознание, разговаривает со своей матерью, с сестрой, просит полать его переводы с немецкого. 7 декабря 1936 года, в 3 часа 30 минут пополудни, его сердце затихло.

Он не дождался прихода Красной Армии и освобождения.

В дни его юбилея украинские советские писатели прислали ему привет. Вот как он благодарил их: «Стою на углу своей хаты и простираю к вам руки. Поздравьте от меня все крепкие таланты ваши. Стою на углу, с любовью жду вас, и ноги мои не болят». Но ноги заболели, больной слег. Советские писатели, явившиеся после освобождения Украины провести его, нашли печальную осеннюю могилу. Приветствовавшие их русовские крестьяне сказали: «Он был коммунистом, он очень любил нас...»

Сколько в этих словах любви к своему поэту и к своей советской власти!

СОДЕРЖАНИЕ

От переводчика	3
Синяя книжечка	11
Провожали из села	14
Утрата	19
В корчме	22
Семья Леся	25
Мамин сынок	28
Богомолка	32
Катруся	35
Ангел	40
Осень	43
Беда	47
Новость	50
Дорога	53
Кончина	56
Давнее	59
Вестники	65
Май	71
Поджигатель	76
Кленовые листья	92
Похороны	102
Сон	104
Басарабы	106
Озимь	116
Вор	119

Чудной барин	127
Дети	133
Заседание	135
Шли из города	142
Подпись	149
Письмо	153
Святой вечер	157
Поле	162
Вечерний час	165
Мое слово	169
Каменный крест	173
Суд	186
Земля	194
Мария	198
Сыновья	208
Случай с детьми	214
Нянька	217
Военные убытки	219
Morituri	224
Дед Гриць	228

Н о с м е р т н о е

Нитка	235
Школьник	237
Старинная мелодия	241
Мать	243
Грех	248
Роса	251
<i>В. Стефаник. Автобиография</i>	<i>254</i>
<i>Заметки к биографии В. Стефаника</i>	<i>261</i>

Редактор И. Слетов
Художник Ф. Константинов
Технич. редактор С. Симонов

A12454. Сдано в набор 21/IX 1946 г. Подпи-
сано к печати 21/XI 1946 г. Печ. л. 17 1/4.
Автор. л. 9,95. Уч.-изд. л. 11,8. Формат бу-
маги 82×108 1/2. Заказ № 6874. Тираж 30 000 экз.
Цена 7 р. 50 к.

1-я Образцовая тип. треста „Полиграфкинг“
Огиза при Совете Министров СССР.
Москва, Валуевая, 28.



348017

В 2.768

7 р. 50 к.

1796

В. СТЕФАННИК - РАССКАЗЫ

В. СТЕФАННИК



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1947